

Эрих Мария РЕМАРК

Жизнь взаимы,
или У неба
любимчиков нет



Возвращение с Западного фронта

Эрих Мария Ремарк

**Жизнь взаимы, или У
неба любимчиков нет**

«АСТ»

1961

УДК 821.112.2-31
ББК 84 (4Гем)-44

Ремарк Э.

Жизнь взаймы, или У неба любимчиков нет / Э. Ремарк —
«АСТ», 1961 — (Возвращение с Западного фронта)

ISBN 978-5-17-109099-9

Ранее роман публиковался под названием «Жизнь взаймы» в сокращенном журнальном варианте 1959 года. В данном издании публикуется окончательный книжный вариант 1961 года. Эту жизнь герои отвоевывают у смерти! Когда терять уже нечего, когда один стоит на краю гибели, так и не узнав жизни, а другому она стала невыносима. И, как всегда у Ремарка, только любовь и дружба остаются незабываемыми. Только в них можно найти точку опоры... В 1977 году по книге был снят фильм с легендарным Аль Пачино.

УДК 821.112.2-31

ББК 84 (4Гем)-44

ISBN 978-5-17-109099-9

© Ремарк Э., 1961

© АСТ, 1961

Содержание

1	6
2	14
3	24
4	35
5	46
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Эрих Мария Ремарк

Жизнь взаимы, или У неба любимчиков нет

Посвящается Полетт Годдар Ремарк¹

© The Estate of the late Paulette Remarque, 1961

© Перевод. М.Л. Рудницкий, 2018

© Издание на русском языке AST Publishers, 2018

* * *

1

Возле заправки, благо хоть там снег был расчищен, Клерфэ притормозил и посигналил. Над придорожными столбами галдело воронье, в убогой мастерской за бензоколонкой кто-то с ожесточением колотил по железу. Грохот прекратился, из дверей вышел паренек лет шестнадцати, в красном свитере и круглых очочках в простой металлической оправе.

– Полный бак, – бросил Клерфэ, вылезая из машины.

– Экстра?

– Экстра. Поесть тут где-нибудь еще дадут?

Паренек большим пальцем ткнул через дорогу.

– Напротив. На обед у них сегодня бернское ассорти было. Вам цепи не снять?

– Это еще зачем?

– Для интересу. Там выше не дорога, а вообще каток.

– До самого перевала?

– До перевала не пропустят. Еще вчера проезд закрыли. А уж на такой-то спортивной букашке там вообще делать нечего.

– Вот как? – усмехнулся Клерфэ. – Ты меня, пожалуй, заинтриговал.

– Вы меня тоже, – отозвался паренек.

Трактир встретил его спертой духотой долгой зимы и прогорклого пива. Клерфэ заказал вяленый ростбиф, сыр и графинчик белого эгля. Попросил официантку накрыть ему на террасе. Вроде не особо холодно. Зато необъятность неба – во всю васильковую синь.

– Из шланга вашу красотку не обдать? – через дорогу крикнул паренек с заправки. – Ей бы совсем не помешало.

– Не надо. Стекло только протри.

Давно не мытая машина и впрямь чуть ли не выставляла напоказ свою чумазость. Ливень, настигший ее за Экс-ан-Провансом, размазал красноземную пыль, густо облепившую капот и крылья на проселках Сан-Рафаэля цветастым узором аляповатого батиста, украсившегося затем хвостами известковых брызг из дорожных луж Центральной Франции и живописными кляксами грязи из-под колес то и дело обгоняемых грузовиков. «Чего ради я сюда мчался? – думал Клерфэ. – На лыжах кататься вроде бы уже не сезон. Из сострадания? Но сострадание – плохой попутчик, а уж как конечная цель маршрута и вовсе никуда не годится. Почему я не поехал в Мюнхен? Или в Милан? Но что я забыл в Мюнхене? И что в Милане? Или еще где? Я просто устал, – думал он. – Устал то ли оставаться неведомо зачем, то ли расставаться. Или просто устал решать – и не решаться. Хотя что мне решать, на что решаться?» Он допил вино и вернулся в трактир.

Официантка за стойкой протирала бокалы. Чучельная голова серны прямо над ней стеклянными глазами тарасилась на рекламу цюрихской пивоварни на противоположной стене. Клерфэ достал из кармана аккуратную, в кожаном футляре, фляжку.

– Коньяком можете заправить?

– Курвуазье, реми-мартен, мартель?

– Мартель.

Девушка принялась отмерять коньяк порциями. Откуда-то взявшаяся кошка тем временем терлась об его ноги. Попросив еще две пачки сигарет и спички, он расплатился.

– Это у вас километры? – поинтересовался паренек в красном свитере, кивнув на спидометр.

– Нет, мили.

Малый почтительно присвистнул.

– Тогда что вы здесь, в Альпах, позабыли? В такой-то тачке – почему вы не на автостраде?

Клерфэ глянул на мальчишку. Отсвечивающие стекляшки очков, вздернутая пуговичка носа, прыщики, оттопыренные уши – словом, существо, только-только променявшее тоску детства на все издержки преждевременного взросления.

– В жизни, сын мой, не всегда поступаешь как надо, – изрек он. – Даже если понимаешь, что это неправильно. И в этом иной раз самый смак. Ты меня понял?

– Не-а, – отозвался мальчишка, шмыгнув носом. – Но телефоны спасения на перевале на каждом километре есть. Если застрянете – только позвоните. Мы вытащим. Вот наш номер.

– Может, у вас еще и сенбернары имеются, с фляжкой спиртного на ошейнике?

– Не-а. Коньяк нынче недешев, да и собаки стали хитрые. Сами норовят коньячком побаловаться. У нас зато теперь волю. Здоровые такие, кого хочешь вытащат.

Поблескивая очочками, парень как ни в чем не бывало выдержал его взгляд.

– Только тебя мне недоставало для полного счастья, – вздохнул Клерфэ. – Горец-самочка, от горшка два вершка и двести метров над уровнем моря. Фамилия у тебя, случайно, не Песталоцци? Или, может, Лафатер?

– Не-а. Геринг.

– Как-как?

– Геринг. – Паренек осклабился, ничуть не стесняясь дырки вместо переднего зуба. – Но меня Губерт зовут.

– Случайно не родственник...

– Да нет, – отмахнулся парнишка. – Мы из базельских Герингов. Если бы из тех, разве бы я здесь, на бензоколонке, корячился? У нас бы пенсия была будь здоров.

Клерфэ задумался.

– Чудной день какой, – пробормотал он, помолчав. – Кто бы мог подумать? Бывай здоров, сын мой, удачи тебе. Ты, признаться, меня удивил.

– А вы меня нет. Вы ведь гонщик?

– Откуда ты знаешь?

Губерт Геринг кивнул на автомобильный номер на бампере, едва различимый под коростой грязи.

– А ты, я погляжу, еще и сыщик, – бросил Клерфэ, садясь в машину. – Может, лучше сразу тебя в каталажку упрятать, чтобы уберечь человечество от новых несчастий. Иначе потом, когда ты до премьер-министра дорастешь, поздно будет.

Он запустил мотор.

– С вас грошики причитаются, – невозмутимо заметил паренек. – Сорок два франка.

Клерфэ протянул деньги.

– Грошики! – передразнил он мальчишку. – Пожалуй, ты меня уже не так сильно пугаешь, Губерт. В стране, где так ласково говорят про деньги, диктатуре не бывать.

Час спустя машина встала. Снежный обвал проломил доски дорожного ограждения и завалил проезжую часть. Конечно, еще не поздно было повернуть и ехать обратно, но Клерфэ не горел желанием второй раз на дню встречаться с рыбьим взглядом Губерта Геринга. И вообще – не любитель он поворачивать назад. А коли так – он предпочел остаться в машине, покуривая сигареты, попивая коньяк, слушая карканье ворон и дожидаясь божьей помощи.

Какое-то время спустя та объявилась в виде небольшой снегоуборочной машины, с водителем которой Клерфэ разделил оставшийся коньяк. После чего тот поехал впереди, расчищая дорогу. Со стороны казалось, будто мощная циркулярная пила вгрызается в гигантский белый ствол поваленного дерева, взметывая над шоссе фонтаны снежных опилок, сверкающих в закатном солнце всеми цветами радуги.

Метров через двести они пробились на чистый асфальт. Снегоуборщик прижался к обочине, обгоняя его, Клерфэ видел, как водитель машет ему на прощание. Как и Губерт, малый тоже был в красном свитере и в очках. Вот почему в разговоре с ним Клерфэ от безопасных тем снега и выпивки старался не уклоняться; два Геринга за один день – это был бы уже перебор.

Губерт, кстати, его дурачил – перевал наверху закрыт не был. Машина уверенно рвалась в гору, и внезапно перед Клерфэ во всю ширь, в голубоватой дымке первых сумерек, распахнулась долина внизу и деревня с рассыпанными в ней, как в коробке с игрушками, белыми крышами домов, покосившейся колокольной, поблескивающими зеркалами катков, парочкой гостиниц и первыми огоньками света в окошках. Он даже машину остановил – поглядеть на все это. Потом петляющим серпантинном плавно покатил вниз. Где-то там, под ногами, в одном из санаториев обитает теперь Хольман, его второй пилот, который год назад вдруг заболел. Врач сказал – туберкулез, Хольман только посмеивался, мол, в век антибиотиков и всей этой магической плесени не бывает такой болезни, а если даже так – получи свою пригоршню таблеток, сколько-то там уколов – и, как говорится, будь здоров. Однако новомодные снадобья оказались вовсе не такими чудодейственными, как их нахваливали, по крайней мере, не для того, кто рос в войну и жил впроголодь. На тысячемильной гонке в Италии у Хольмана перед самым Римом открылось кровотечение, и Клерфэ пришлось ссадить его на технической остановке. Врач настоял на лечении в горах, на пару месяцев. Хольман бушевал, но в итоге подчинился, и вот пара месяцев растянулась уже почти на год.

Мотор вдруг стал захлебываться. «Свечи! – мелькнуло у Клерфэ. – Будь они неладны!» А все оттого, что за рулем бог знает о чем думаешь, только не о дороге. Он переключился на нейтраль, дал машине скатиться вниз своим ходом и только внизу, на ровном месте, остановился, вылез и задрал капот.

Ну, конечно, как всегда, это были свечи, залило второй и четвертый цилиндры. Он их вывернул, снова ввинтил и запустил мотор. Машина завелась, и Клерфэ несколько раз выжал и отпустил педаль акселератора, удаляя из цилиндров излишки топлива – мотор взревел. А едва выпрямился – сразу увидел сани в парной упряжке: напуганные ревом мотора, лошади вздыбились и теперь неслись прямо на него. Он кинулся навстречу, схватил ближнюю кобылу под уздцы, повис, дал себя протаскать...

Взбрыкнув еще пару раз, лошади замерли. Они дрожали, все еще всхрапывая, пар их жаркого дыхания клубами застилал морды. Было что-то зверское, даже первобытное в их испуганно ширяющих глазах. Клерфэ осторожно отпустил удила. Лошади не шелохнулись, только фыркали, позвякивая бубенцами. Породистые, отборные лошади, не какие-нибудь гужевые клячи.

Рослый, крупный мужчина в черной меховой папахе, встав с облучка, ласковыми словами тоже пытался успокоить лошадей.

Подле него, судорожно вцепившись в подлокотники, сидела молодая женщина. Смуглое от загара лицо, очень светлые глаза.

– Сожалею, что напугал вас, – сказал Клерфэ. – Как-то не подумал, что здешние лошади все еще не привыкли к машинам.

Мужчина продолжал увещевать лошадок, потом наконец отпустил поводья и нехотя обернулся к нему.

– К машинам, от которых столько шуму, да, не привыкли, – неприязненно бросил он. – Но уж как-нибудь я бы их удержал. Хотя спасибо, конечно, что вы спасать нас решили.

Вскинув глаза, Клерфэ узрел над собой надменную физиономию и встретил холодный взгляд, в котором читалась легкая издевка: лишь для вида сохраняя учтивость, возница явно потешался над его никчемным геройством. Даже и не припомнить, когда в последний раз он видел человека, до такой степени неприятного с первого взгляда.

– Я спасал вовсе не вас, а свою машину, – заметил он сухо.

– Надеюсь, вы не испачкались понапрасну.

Мужчина уже снова смотрел на лошадей. Клерфэ перевел глаза на женщину. «Ах вон что, – пронеслось в голове. – Этот желает остаться в героях сам».

– Нет, не испачкался, – отчеканил он в ответ. – Меня не так-то просто испачкать.

Санаторий «Белла Виста», водрузившись на пригорке, на деревню поглядывал свысока. Клерфэ поставил машину на площадке перед воротами, где в ожидании седоков дежурили на санях ямщики. Он заглушил мотор, потом накрыл капот кожухом, чтобы не остыл.

– Клерфэ! – донеслось до него издали.

Он обернулся и, к немалому своему изумлению, увидел Хольмана, который уже бежал к нему по дорожке. А он-то думал, что Хольман лежачий.

– Клерфэ! – орал Хольман. – Неужто это правда ты?

– Как видишь. А ты, как я погляжу, на ногах. Я-то думал, ты лежачий.

Хольман рассмеялся:

– Лежачий – это здесь немодно. – Он дружески хлопнул Клерфэ по спине, а сам не отрывал глаз от машины. – Я рев нашего «Джузеппе» еще издали услышал, но решил, что почудилось. Ну а потом увидел, как вы с ним в горку взлетаете. Вот уж сюрприз так сюрприз! Ты откуда?

– Из Монте-Карло.

– Ну надо же! – Хольман все никак не мог успокоиться. – Да еще на «Джузеппе», на нашем старикане «Джузеппе». А я-то думал, вы совсем меня позабыли.

Он ласково погладил корпус машины. Еще бы – он как-никак полдюжины гонок на штурманском месте в «Джузеппе» отбарабанил. Да и первое серьезное кровотечение у него тоже прямо в машине открылось.

– Ведь это все еще наш старина «Джузеппе», верно? Или уже его младший брат?

– «Джузеппе», он самый. Только уже не гоняется. Я выкупил его у фирмы. Он теперь на покое.

– Как и я.

Клерфэ вскинул глаза:

– Ты-то не на покое. Ты в отпуске.

– Уже целый год! Какой там, к черту, отпуск! Но пошли же! Такую встречу – и не отметить? Что ты пьешь? По-прежнему водку?

Клерфэ кивнул:

– А у вас что – и водку подают?

– Гостям – все что угодно. У нас тут все по-современному.

– Похоже на то. С виду вообще отель как отель.

– Это тоже входит в курс лечения. Новомодная теория. Мы как бы не пациенты, а просто на курорте. Слова «болезнь» и «смерть» вообще под запретом. Их как бы и не существует вовсе. Прикладная психология. Якобы очень укрепляет моральный дух; хотя люди все равно мрут. А в Монте-Карло зачем? В ралли участвовал?

– Ну да. Ты что, про спорт даже не читаешь?

Хольман на миг смутился:

– Сначала читал. А потом бросил. Идиотство, да?

– Да нет, разумно. Еще начитаешься, когда снова ездить начнешь.

– Ну да, – хмыкнул Хольман. – Когда снова ездить начну. Когда сорву самый большой куш в лотерею. С кем ты на ралли-то ехал?

– С Торриани.

Они уже подходили к подъезду. Склоны вокруг окрасились багрянцем заката. Лыжники черными запятыми проносились по розовым сугробам.

– Красиво тут у вас, – заметил Клерфэ.

– Ага, красивенькая тюряга.

Клерфэ промолчал. Он видывал совсем другие тюряги.

– Ты теперь постоянно с Торриани ездешь? – спросил Хольман.

– Да нет. То с одним, то с другим. Тебя жду.

Это была неправда. Вот уже полгода на всех гонках у него напарником был Торриани. Но раз уж Хольман не следит больше за спортивными новостями, ложь сорвалась с языка сама собой.

И подействовала на Хольмана не хуже выпивки. На лбу у него внезапно выступили бисеринки пота.

– Что-нибудь словил на ралли? – спросил он.

– Да нет. Поздновато пришли.

– Откуда ехали?

– Из Вены. Идиотская затея. Каждый советский патруль нас останавливал. Как будто мы самого Сталина похитили или динамит везем. Да я и не собирался выигрывать, только новую машину обкатать. Ну и дороги у них там, в советской зоне, скажу я тебе! Каменный век.

Хольман рассмеялся:

– Отомстил-таки советский Джузеппе² своему тезке! А до того – где еще гонялся?

Клерфэ предостерегающе вскинул руку:

– Давай лучше выпьем. И сделай одолжение, хотя бы в первые дни, ради меня, будем говорить о чем угодно, только не о гонках и не о машинах.

– Клерфэ, старина! О чем же еще?

– Только в первые дни.

– Да что с тобой? В чем дело?

– Ни в чем. Просто устал. Хочу отдохнуть и хотя бы несколько дней ничего не слышать об этом безумии, когда живых людей засовывают в жестяные таратайки и заставляют мчаться наперегонки. Да ты и сам знаешь.

– Знаю, конечно, – отозвался Хольман. – И все-таки в чем дело? Что случилось?

– Да ничего, – с раздражением отмахнулся Клерфэ. – Обычные суеверия, как у всех. Мой контракт истекает, а его все еще не продлили. Боюсь беду накликаю. Вот и все.

– Клерфэ, не крути, скажи прямо: кто разбился?

– Феррер. В этой дурацкой, игрушечной гонке на побережье.

– Насмерть?

– Пока что нет. Но ему уже ампутировали ногу. А эта сумасшедшая дура, что таскается за ним повсюду, эта самозванка-баронесса, отказывается даже его навестить. Засела в казино и ревет. Ей, видите ли, не нужен калека. Все, мне срочно надо выпить. Мой последний коньяк выхлебал алкаш на снегоуборщике. Но даже он куда благоразумнее нас: его бульдозер больше пяти километров в час не дает.

Они сидели в вестибюле за маленьким столиком у окна. Клерфэ как бы невзначай поглядывал по сторонам.

– Это что, все больные?

– Да нет. Есть и здоровые, посетители.

– Ну конечно! Больные – это те, которые бледные.

Хольман рассмеялся:

² В журналистском обиходе стран Запада, особенно в политической карикатуре, имя Иосифа Сталина часто фигурировало в итальянско-мафиозном варианте: Джузеппе.

– Они-то как раз здоровые. А бледные, потому что приехали недавно. Зато вот загорелые, как альпинисты – это как раз больные и есть, ведь они здесь давно.

Официантка принесла заказ: стакан апельсинового сока Хольману и графинчик водки для Клерфэ.

– Ты к нам надолго? – спросил Хольман.

– Нет. На пару дней. Где посоветуешь остановиться?

– Лучше всего в «Палас-отеле». Там и бар хороший.

Клерфэ глянул на его стакан с соком.

– А ты-то откуда знаешь?

– Так мы туда ходим, когда отсюда срываемся.

– Срывается?

– Ну да, по ночам иной раз, когда хочется почувствовать себя здоровым. Разумеется, это запрещено, но даже если тебя застукают, все равно это куда лучше бесплодных дискуссий с Господом, выясняя, за что он наградил болезнью именно тебя. – Хольман извлек из нагрудного кармана небольшую стеклянную фляжку и плеснул из нее себе в стакан. – Джин, – пояснил он. – Тоже годится.

– Вам что, и пить запрещено? – посочувствовал Клерфэ.

– Не то чтобы совсем запрещено, но так проще. – Хольман припрятал фляжку обратно в карман. – Тут, наверно, малость впадаешь в ребячество.

К подъезду подкатили сани. Клерфэ сразу узнал и лошадей, и возницу. Мужчина в черной папаше слез с облучка.

– Не знаешь, кто это? – спросил Клерфэ.

– Женщина?

– Да нет, вон тот.

– Русский. Его зовут Борис Волков.

– Из белых?

– Ну да. Однако он, в порядке исключения, не зовет себя великим князем и даже не беден. Его папаша исхитрился вовремя открыть счет в Лондоне и не вовремя оказаться в Москве, где его и расстреляли. Жена и сын сумели выбраться. Она, по слухам, зашила в корсет несколько изумрудов, каждый с орех величиной. В семнадцатом году еще носили корсеты.

Клерфэ рассмеялся:

– Да ты прямо детективное бюро. Откуда тебе все это известно?

– Здесь очень скоро все про всех узнаешь, – с ноткой горечи проронил Хольман. – Еще недели две, лыжный сезон кончится, и на остаток года эта деревушка превратится в захолустную дыру, где все только и живут, что сплетнями.

Мимо их столика протискивалась стайка низкорослых людей в черном. Они о чем-то оживленно и громко переговаривались по-испански.

– Довольно интернациональное, однако, у вас захолустье, – хмыкнул Клерфэ.

– Что верно, то верно. Смерть пока что шовинизмом не страдает.

– Не очень-то я в этом уверен. – Клерфэ глянул на дверь. – А это, значит, жена того русского?

Хольман оглянулся.

– Нет.

Русский со своей дамой тем временем вошли.

– Они, что ли, тоже больные? – спросил Клерфэ.

– Да. А что, не похоже?

– Нет.

– Здесь это обычное дело. Первое время вид у человека просто цветущий, а потом вдруг раз, и всего этого цветения как не бывало. Но тогда его уже и не видит никто, ведь он перестает появляться на людях.

Русский со своей дамой остановились у дверей. Мужчина что-то настоятельно внушал своей спутнице. Та выслушала его, потом строптиво трянула головой и решительно направилась вглубь зала. Проводив ее взглядом, мужчина помедлил еще немного, потом вышел на улицу и уселся в сани.

– Похоже, они повздорили, – не без злорадства отметил Клерфэ.

– Такое здесь сплошь и рядом случается. Каждый по-своему с ума сходит. Тюремный психоз. Смещаются все привычные масштабы. Мелочи вдруг становятся страшно важными, а важное, наоборот, кажется несущественным.

Клерфэ глянул на Хольмана в упор.

– Для тебя тоже?

– И для меня. Нельзя жить, уставившись в одну точку.

– Эти двое тоже здесь живут?

– Нет, только она. Он в другом месте.

Клерфэ встал.

– Хорошо, поеду в отель. Где мы сможем поужинать?

– Здесь. У нас разрешено принимать гостей.

– Отлично. Когда?

– В семь. В девять мне надо ложиться – режим. Как в детстве перед школой.

– Как в армии, – добавил Клерфэ. – И как перед гонками. Помнишь, как в Милане капитан нашей конюшни загонял нас в отель, как кур в курятник?

Лицо Хольмана разом просветлело.

– Габриэлли? Он все еще на месте?

– Конечно. А что ему сделается? Капитаны конюшен умирают в своей постельке – как и генералы.

Спутница русского вдруг объявилась снова. Уже в дверях ее остановила седовласая дама, что-то тихо, но сурово ей выговаривая. Женщина ничего не ответила, но в нерешительности остановилась. Обернувшись, она завидела Хольмана и направилась к их столику.

– Крокодил меня не выпускает, – прошептала она. – Заладила одно: мне, мол, вообще нельзя выезжать. И если я еще раз нарушу, грозитесь все доложить Далай-ламе.

Тут она осеклась.

– Это Клерфэ, Лилиан, – пояснил Хольман. – Я вам о нем рассказывал. Вот нагрязнул меня навестить.

Женщина кивнула. Похоже, его имя ничего ей не говорило, и она снова обратилась к Хольману.

– Твердит одно: вам надо в постель, – сердито продолжала она. – И все из-за того, что у меня пару дней температура была. Но я не позволю держать себя взаперти! Сегодня вечером – ни за что! А вы – вы остаетесь?

– Да. Мы сегодня ужинаем внизу. В чистилище.

– Я тоже приду.

Кивнув Клерфэ и Хольману, она удалилась.

– Не бойся, ты не на Тибете, – усмехнулся Хольман. – Чистилище – это у нас нижний зал, куда допускаются посетители. Далай-лама – это, конечно, наш профессор, главный врач. Ну а Крокодил – старшая медсестра.

– А эта женщина?

– Лилиан Дюнкерк. Бельгийка, хотя мать у нее русская. Родители, впрочем, умерли уже.

– С чего вдруг она так распахивалась из-за такой ерунды?

Хольман пожал плечами. И как-то сразу потускнел.

– Говорю тебе: здесь все помаленьку с ума сходят. А уж когда кто-нибудь умирает, и подавно.

– А что, кто-то умер?

– Да, ее подружка. Вчера. Здесь, у себя в палате. И даже когда тебе до этого, казалось бы, дела нет, все равно – каждая новая смерть уносит какую-то частичку тебя. Должно быть, еще одну кроху надежды.

– Понимаю, – проронил Клерфэ. – Но ведь это везде так.

Хольман кивнул:

– У нас тут почему-то по весне умирать начинают. Куда чаще, чем зимой. Чудно, правда?

2

В верхних этажах санатория уже ничто не напоминало отель – здесь ты сразу попадаешь в больницу. Возле палаты, где умерла Агнесса Зоммервиль, Лилиан Дюнкерк остановилась. Заслышав внутри голоса и шум, она приоткрыла дверь.

Гроба уже не было. Окна распахнуты настежь, две уборщицы моют полы. Чавканье и плеск воды, резкий запах лизола и мыла, сдвинутая со своих мест мебель, нестерпимый электрический свет, бесцеремонно заглядывающий во все углы.

На миг Лилиан показалось, что она ошиблась дверью. Но тут взгляд ее упал на плюшевого медвежонка, заброшенного на шкаф – это был талисман Агнессы, ее любимая игрушка.

– Ее что, уже увезли? – спросила она.

Одна из уборщиц выпрямилась.

– В седьмую перенесли. Нам тут убираться надо. Завтра с утра новенькая заезжает.

– Спасибо.

Лилиан осторожно прикрыла за собой дверь. Знает она седьмую палату: крохотная каморка возле грузового лифта. Туда кладут всех покойников, чтобы ночью без лишнего шума на грузовом лифте спустить вниз. «Как чемоданы», подумала Лилиан. И срочно лизолом и мылом изничтожить последние следы умершего.

В седьмой палате зато свет был выключен. И свечи унесли. Гроб стоял закрытый, узенькое фарфоровое личико и яркие рыжие локоны подруги навсегда прихлопнула тяжелая крышка, которую уже успели привинтить болтами. Все было готово к транспортировке. Цветы, вынутые из гроба, снопом сложены рядом на столе, завернутые в специальную клеенку с кольцами и шнуровкой, чтобы удобнее прихватить сразу всю охапку. Тут же, аккуратной стопкой, как шляпы в салоне модистики, лежали венки. Шторы не задернуты, окна настежь. В безмолвную, выстуженную каморку заглядывала луна.

Лилиан всего-навсего хотела еще раз взглянуть на Агнессу. Опоздала. Теперь уже никто не увидит бледное личико в ореоле огненных волос, все то, что когда-то было Агнессой Зоммервиль. Сегодня же ночью, тайком ото всех, гроб спустят вниз и на санях отвезут в крематорий. Там, внезапно охваченный жаром пламени, он загорится, огненные волосы, с треском рассыпая искры, вспыхнут снова, теперь уже в последний раз, окоченевшее тело в горниле топки приподнимется, даже привстанет слегка, как будто оживая заново, – и распадется в ничто, оставляя после себя пригоршню праха и зыбкое облачко смутных воспоминаний.

Лилиан смотрела на гроб. «А что, если она еще жива?! – пронеслось вдруг в голове. – Что, если она очнулась там, в этом жутком ящике? Ведь бывают же случаи. Откуда знать, с кем и как часто они бывают?» Да, примеров, когда такие вот мнимые покойники воскресали и их чудом успевали спасти, совсем немного, но кто знает, сколько их там – заживо задохнувшихся в крошечном могильном безмолвии, не услышанных, не спасенных? А вдруг и Агнесса, стиснутая неумолимыми атласными стенами своей темницы, там, внутри, как раз сейчас пытается крикнуть, позвать на помощь, но пересохшее горло не в силах издать ни звука.

«Я схожу с ума, – подумала Лилиан. – Что за чушь в голову лезет? Зачем я здесь? Что меня сюда привело? Сентиментальность? Растерянность? Или это жуткое, постыдное любопытство, жажда еще раз, как в бездну, заглянуть в безжизненное лицо в надежде, что из этой пропасти вдруг да и отзовется ответ? Свет! – пронеслось в голове. – Надо зажечь свет!»

Она направилась было к двери, но вдруг остановилась и прислушалась. Ей послышался шорох, тихий, но очень внятный, словно кто-то скребнул ногтями по шелку. Она поскорей повернула выключатель. Резким светом вспыхнула под потолком голая лампочка, и разом сгинули темень, луна, жуть. «Мне уже призраки мерещатся, – подумала она. – Это мое платье

шуршит. Это я сама рукой свое же платье задела. Да что угодно, только не последние слабые судороги на миг пробудившейся жизни».

Она снова усталилась на гроб, мрачно поблескивавший теперь в ярком свете. Нет, этот черный полированный ящик с бронзовыми ручками не может таить в себе жизнь. Напротив, он таит в себе угрозу, самую страшную угрозу для рода человеческого. И там, внутри, лежит уже не Агнесса Зоммервиль, ее подруга в своем золотистом платье, и даже не ее восковое подобие с изъеденными чахоткой легкими, со сгустками остановившейся крови в жилах, с занимающимся движением тлетворных соков в безжизненном теле, – нет, в этом ящике притаилось само ничто, то страшное и абсолютно непостижимое, что, зарождаясь вместе со всякой жизнью, в зловещей немоте живет и взрастает вместе с ней, неся в себе вечный голод смерти, неодолимую тягу к самоуничтожению, – живет и в ней, Лилиан Дюнкерк, безмолвно разрастаясь, денно и ночно укорачивая срок ее жизни, пожирая еще сутки, и еще, пока не сожрет все до последней минуточки, и тогда от нее останется только бездыханная оболочка, которую вот так же запихнут в черный ящик, последнюю обитель распада и разложения.

Не оборачиваясь, она нащупала у себя за спиной дверную ручку, но в тот же миг ручка под ее пальцами сама собой резко подалась вниз. Крик ужаса застрял у нее в горле. Дверь отворилась. Перед Лилиан стоял насмерть перепуганный лакей.

– Вы... кто такая? – в ужасе пролепетал он. – Вы... как... сюда попали? – Взгляд его был устремлен мимо нее, в комнату, где, тронутые сквозняком, сами собой колыхались шторы. – Было ведь заперто! Как вы вошли? Где взяли ключ?

– Тут было не заперто.

– Тогда, значит, кто-то... – Лакей остолбенело смотрел на дверь. – Да вот же ключ! – Он даже отер лицо, как бы отгоняя наваждение. – Знаете, я уж было подумал...

– Что?

Он кивнул на гроб:

– Я уж было подумал, что это вы и...

– Так это я, – все еще не понимая, прошептала Лилиан.

– Что???

– Да ничего.

Только теперь лакей решился зайти в комнату.

– Вы меня не поняли. Я уж было решил, что это покойница. Ну надо же! Всякого, казалось бы, навидался! – Он усмехнулся. – Вот уж действительно ночной кошмар! Что вы здесь делаете? Восемнадцатую завинтили уже.

– Кого?

– Восемнадцатую. Ну, из восемнадцатой палаты. Фамилию не помню. Да и не важно теперь. Когда уже того. Тут даже самая красивая фамилия не поможет.

Лакей выключил свет и уже закрывал дверь.

– Так что радуйтесь, барышня, что это не вы, – добродушно заключил он.

Порывшись в сумочке, Лилиан сунула ему немного денег.

– Это вам за испуг.

Лакей отдал честь и огладил клочковатую бородку.

– Благодарствую. Поделюсь с Йозефом, напарником моим. После скорбных трудов пропустить рюмашку, да еще пивка, самое милое дело. А вы, барышня, не принимайте слишком близко к сердцу. Когда-нибудь все там будет.

– И то правда, – проронила Лилиан. – Нашли чем утешить. Просто замечательное утешение, верно?

И вот она снова у себя в комнате. Мирно журчат трубы центрального отопления. Горят все лампы. «Я схожу с ума, – думала Лилиан. – Я боюсь ночи, боюсь темноты. Я самой себя

боюсь. Что делать? Конечно, можно принять снотворное и заснуть при свете. Можно позвонить Борису, поговорить с ним». Она потянулась было к телефону, но трубку так и не сняла. Она же знает, что он ей скажет. И знает даже, что он будет прав; но какой прок говорить с тем, кто всегда прав? Крохи разума, которым наделен человек, для того и даны, чтобы понять: жить одним только разумом не получается. Человек живет чувствами, а тут никакая правота не поможет.

Она устроилась в кресле у окна. «Мне двадцать четыре, – думала она, – столько же, сколько было Агнессе. И уже четыре года я торчу здесь. А до этого почти шесть лет была война. Что я успела изведать в жизни? Страх, бомбежки, бегство из Бельгии, слезы, смерть родителей, голод, потом, из-за голода, болезнь, снова бегство. А до этого я была еще ребенком. Я и не помню почти, как выглядит мирный город ночью. Тысячи огней, залитые светом улицы – как это было и было ли вообще? Зато затемнения, светомаскировку, град бомб с черного неба, и страх, и холод, и мрак убежища.

Счастье? В какой жалкий комочек превратилось это слово, когда-то такое сияющее, столь необъятное! Счастьем стала даже неотопливаемая каморка, кусок хлеба, подвал, вообще любое место, укрытое от обстрела. А потом – потом начался санаторий». Она все еще смотрела в окно. Внизу, у служебного входа для поставщиков и obsługi, стояли сани. Может, это уже для Агнессы Зоммервиль. Всего год назад, смеющаяся, вся в мехах и цветах, она подкатила к главному входу; теперь же покидала здание тайком, черным ходом, словно вороватый постоялец, не уплативший по счету. И двух месяцев не прошло с того дня, когда она обсуждала с Лилиан планы отъезда отсюда. Отъезд – этот вечный мираж, фата моргана, так никогда и не наступит.

Зазвонил телефон. Помедлив, она все-таки сняла трубку.

– Да, Борис. Ну конечно, я благоразумна, – да, я знаю, тысячи людей умирают от инфарктов и от рака, – да, я помню статистику, Борис, да, – да, конечно, я знаю, это только так кажется, потому что здесь, наверху, нас так много, живем все вместе, мозолим друг другу глаза, – да, конечно, многие излечиваются, да, – новые лекарства, да, Борис, я буду благоразумна, обещаю, – нет, нет-нет, не надо приезжать, – да, и я тебя люблю, конечно, Борис...

Она положила трубку.

– Благоразумной, – прошептала она, глядя в зеркало, откуда на нее чужими глазами смотрело совсем чужое лицо, – благоразумной! – «Бог ты мой, – пронеслось в голове, – я и так слишком долго была благоразумной! А чего ради? Чтобы кончить двадцатым или тридцатым номером в седьмой палате, рядом с грузовым лифтом? Содержимым черного ящика, от одного вида которого всех жуть берет?

Она взглянула на часы. Уже почти девять. Впереди, всей бесконечностью тьмы, ждала бессонная ночь, ждала помесью страха и скуки – мерзкий гибрид, рожденный в санаторных стенах, – панического страха перед болезнью, скуки от неумолимого больничного распорядка, и само это невыносимое сочетание столь контрастных эмоций только сильнее угнетало душу чувством полнейшей беспомощности.

Лилиан встала. Что угодно, только не оставаться сейчас одной! Кто-то наверняка еще остается внизу – по крайней мере Хольман и его гость.

Внизу, в столовой, кроме Хольмана и Клерфэ, сидели еще трое латиноамериканцев – двое мужчин и довольно толстая низенькая женщина. Все трое были в черном, все трое молчали. Сидели в самом центре зала аккуратно под люстрой, как три маленьких черных истукана.

– Прибыли прямо из Боготы, – пояснил Хольман. – Их телеграммой вызвали. Дочь вон того мужчины в роговых очках лежала при смерти. Но стоило им появиться, как девушке внезапно стало лучше. И теперь они не знают, как быть – лететь обратно или оставаться.

– Почему бы матери не остаться, а эти двое пусть летят?

– Толстуха вовсе не мать ей. Она мачеха, и как раз на ее деньги Мануэла здесь живет. Да и оставаться никто из них не хочет, даже отец. Там, у себя, они про девчонку считают что

забыли. Ну, посылали регулярно чек и жили себе в своей Боготе, а Мануэла была здесь, раз в месяц писала им письмо, и так уже пять лет. А у отца с мачехой уже свои дети, Мануэла их даже не видела. Все было замечательно – покуда ей умирать не приспичило. Тут, конечно, им пришлось срочно сюда отправляться, хотя бы приличия ради. Отпускать отца одного мачеха ни в какую не хотела – она старше мужа, ревнива и понимает, что стала толстухой. На всякий случай взяла с собой в подмогу брата. В Боготе и так уже пошел слухок, что она выжила падчерицу из дома; вот она и решила показать, как она Мануэлу любит. Так что тут не только ревность, тут еще и показуха. Улети она сейчас одна – сплетни разгорятся с новой силой. И теперь они все трое сидят и ждут.

– А Мануэла?

– Ну, поначалу-то, когда она с часу на час должна была богу душу отдать, отец с мачехой в ней души не чаяли. И бедняжка Мануэла, которую никто никогда не любил, от счастья настолько одурела, что стала идти на поправку. Теперь ее родичи уже проявляют нетерпение. И день ото дня все больше толстеют, это у них нервное, ведь они то и дело заедают свою кручину знаменитыми здешними конфетами. Еще неделя – и они, пожалуй, Мануэлу возненавидят: сколько же можно тянуть с кончиной!

– Или мало-помалу пообвыкнут в деревне, откупят у хозяев кондитерскую и останутся здесь жить, – заметил Клерфэ.

Хольман рассмеялся:

– Прихотливые же, однако, у тебя фантазии.

– Это не фантазии. Только прихотливый жизненный опыт. Но откуда тебе все это известно?

– Говорю же тебе: здесь все тайное становится явным. Медсестра Корнелия Вюрли говорит по-испански, вот мачеха ей все и рассказывает.

Три фигуры в черном поднялись из-за стола. Ни слова не сказав друг другу, они торжественно прошествовали к дверям.

В дверях они едва не столкнулись с Лилиан Дюнкерк, которая вошла столь стремительно, что толстуха едва успела отпрыгнуть, издав испуганный птичий вскрик.

– С чего это она шарахается? – прошептала Лилиан. – Как от привидения! Неужто от меня? Уже? – Она торопливо достала зеркальце. – Нынче вечером, похоже, я пугаю каждого встречного.

– Кого еще?

– Лакея на этаже.

– Что? Йозефа?

– Да нет, второго, его напарника. Ну, вы знаете...

Хольман кивнул:

– Нас, Лилиан, вы не испугали.

Она спрятала зеркальце.

– Крокодил уже была здесь?

– Нет. Но с минуты на минуту появится, чтобы загнать нас наверх. Она пунктуальна, как прусский фельдфебель.

– Я узнавала: сегодня ночью на дверях Йозеф. Можно смыться. Пойдете с нами?

– Куда? В Палас-бар?

– Конечно, куда же еще?

– Что там хорошего, в этом Палас-баре? – изумился Клерфэ. – Я только что оттуда.

Хольман рассмеялся:

– Нам везде хорошо. Даже там, где нет ни души. Лишь бы не в больничных стенах. В неволе привыкаешь довольствоваться малым.

– Сейчас как раз можно смыться, – торопила Лилиан. – Кроме Йозефа на дверях никого. Второй швейцар ушел куда-то.

Хольман замялся:

– Лилиан, у меня температурка. Черт его знает, с чего вдруг, нынче вечером взяла и подскочила. Может, от того, что Клерфэ пригнал сюда нашу старушку, такую родную, такую грязную...

Вошла уборщица, начала составлять стулья на столы, готовясь мыть пол.

– Нам и с температурой случалось удирать, – заметила Лилиан.

Хольман смущенно поднял на нее глаза.

– Конечно. Но не сегодня, Лилиан.

– И все это из-за грязной гоночной машины?

– Наверно. А где Борис? Он разве не идет?

– Борис уверен, что я сплю. Я уже сегодня после обеда заставила его вывезти меня на прогулку. Второй раз он ни за что не согласится.

Уборщица раздвинула занавески. И в окне вдруг всею угрюмой мощью воздвигся горный пейзаж – залитые лунным сиянием склоны, черный лес, снега. На этом фоне трое людей за столиком выглядели жалкими букашками. Уборщица меж тем по очереди гасила светильники на стенах. И с каждой погашенной лампой грозный ландшафт, казалось, все неумолимей вдвигается в комнату, тесня беспомощных людишек.

– А вот и Крокодил, – проронил Хольман.

Старшая сестра и вправду стояла в дверях. Мощные челюсти, крокодилья улыбка во всю пасть и холодные глаза.

– А-а, наши полуночники тут как тут! Отбой, господа! – Впрочем, по поводу того, что Лилиан все еще на ногах, она не обмолвилась ни словом. – Спать пора! Спать! Завтра тоже будет день.

Лилиан неохотно встала.

– Вы уверены?

– Совершенно уверена, – с непрошибаемым оптимизмом отозвалась старшая. – А для вас, госпожа Дюнкерк, на ночном столике уже приготовлено снотворное. Будете поживать, как в объятиях Морфея.

– В объятиях Морфея! – с отвращением передразнил Хольман, едва медсестра удалилась. – Наш Крокодил – ходячий кладезь банальностей. Сегодня-то она нас еще считай что пощадила. Ну почему, стоит тебе оказаться в больнице, эти церберы здравоохранения начинают обходиться с тобой с таким ангельским терпением, словно с несмышленным дитятей или слабоумным?

– Это их отместка за свою работу, – с досадой пояснила Лилиан. – Отними у медсестер и официантов возможность вымещать зло на клиентах – они просто умрут от комплекса неполноценности.

Они уже стояли возле лифта.

– А вы куда направитесь? – спросила Лилиан у Клерфэ.

– В Палас-бар.

– Меня не захватите?

Он замешкался лишь на секунду. Навидался он этих экстравагантных русских дамочек. И наполовину русских тоже. Но тут ему вспомнился сегодняшний случай с санями и высокомерный, неприязненный взгляд Волкова.

– Почему бы и нет? – отозвался он.

Она улыбнулась смущенной, беспомощной улыбкой.

– Ну разве это не унизительно? Клянчить крохи свободы, словно отпетый пьяница, умоляющий бармена о последней выпивке? Разве это не позор?

Клерфэ покачал головой:

– Я сам клянчил, и не раз.

Она впервые посмотрела на него во все глаза.

– Вы? – переспросила она. – Но вы-то почему?

– Причина всегда найдется. Не только у человека, даже у камня. Где мне вас забрать? Или сразу пойдете?

– Нет. Вам надо выйти через главный вход. Крокодил уже там караулит. Вы спуститесь по первой дорожке, на площадке возьмите сани и подъезжайте к служебному входу, обогнув корпус справа. А я там выйду.

– Хорошо.

Лилиан вошла в лифт.

– Ты не в обиде, что я с вами не еду? – спросил Хольман.

– Да ничуть. Я ведь не завтра уезжаю.

Хольман смотрел на него испытующе.

– А Лилиан? Может, ты хотел побыть один?

– Вот уж нет. Какая радость оставаться одному?

Через опустевший вестибюль он шел к выходу. Там, над дверью, тускло мерцала одна-единственная слабенькая лампочка. В широкие окна заглядывала луна, выставив пол залы золотистыми ромбами. В дверях и вправду стояла Крокодил.

– Спокойной ночи, – пожелал Клерфэ.

– Good night³ – откликнулась та. Он так и не понял, с какой стати она вздумала попрощаться с ним по-английски.

Петляя серпантином аллеи, он спустился вниз, покуда не дошел до саней.

– Верх поднять можете? – спросил он у кучера.

– В такую темень? Вроде совсем не холодно.

Клерфэ не хотел везти Лилиан в открытых санях, но не объяснять же это кучеру?

– Вам, может, не холодно, а я мерзну. Из Африки приехал, – буркнул он. – Так вы верх поднимете или как?

– Из Африки – это другое дело. – Кучер не торопясь слез с облучка и растянул над санями гармошку кабинки. – Так пойдет?

– Вполне. К санаторию «Белла Виста», к служебному входу, – распорядился он.

Лилиан Дюнкерк уже ждала, небрежно накинув на плечи легкий жакет из каракульчи. Впрочем, выйди она вообще в одном вечернем платье, Клерфэ и тут бы не удивился.

– Все удалось в лучшем виде, – прошептала она. – У меня ключ Йозефа. В награду он получит бутылку вишневки.

Клерфэ усадил ее в сани.

– А машина ваша где? – поинтересовалась она.

– Отдал помыть.

Когда сани, развернувшись, проезжали мимо главного входа, она откинулась назад, прячась в кабинке.

– Это вы из-за Хольмана сегодня на машине не приехали? – спросила она немного погодя.

Он глянул на нее мельком.

– Из-за Хольмана? С какой стати?

– Чтобы он ее не видел. Чтобы его побережь.

³ Спокойной ночи (англ.).

А ведь она угадала. Клерфэ заметил: что-то уж больно Хольман возбуждается от одного вида «Джузеппе».

– Нет, – ответил он. – Просто машину давно пора помыть.

Он достал из кармана пачку сигарет.

– Дайте и мне одну, – попросила Лилиан.

– А вам разве можно?

– Конечно, – ответила она столь поспешно и уверенно, что он сразу понял: нельзя.

– У меня только «галуаз». Это черный, крепкий табак, курево для солдатни из иностранного легиона.

– Я знаю. Мы их курили, когда жили в оккупации.

– В Париже?

– В подвале в Париже.

Он поднес ей огня.

– Так откуда вы сегодня приехали? – спросила она. – Из Монте-Карло?

– Нет. Из Вьена.

– Из Вены? Из Австрии?

– Из Вьена. Это под Лионом. Вы наверняка не знаете. Сонный такой городишко, известный только одним из лучших во Франции ресторанов – «Отель де Пирамид».

– А сюда через Париж добирались?

– Это был бы слишком большой крюк. Париж много севернее.

– Тогда как?

Клерфэ удивился: с какой стати ей эти подробности?

– Да обычным путем, – ответил он. – Через Бельфор и Базель. У меня в Базеле были кое-какие дела.

Лилиан помолчала.

– Ну и как это было? – вдруг спросила она.

– Что? В дороге? Скучно. Серое небо, все плоско, потом Альпы.

В сумраке кабинки он слышал, как она дышит. Потом, в свете промелькнувшей витрины очередного часовщика, увидел ее лицо. На нем застыло странное выражение: смесь удивления, насмешки и боли.

– Скучно? – переспросила она. – Плоско? Господи, чего бы я только не отдала, лишь бы не глазеть на эти горы.

Только тут он понял, почему она его так расспрашивает. Для них, пациентов, горы все равно что тюремные стены, за которыми совсем другой мир, воля. Да, горы дарят им легкость дыхания и толику надежды, но они же держат этих людей взаперти. Вся жизнь оказывается замкнута на пятачке альпийского курорта, и всякая новость «оттуда», снизу, становится для них весточкой из потерянного рая.

– И давно вы здесь? – спросил он.

– Четыре года.

– А вниз когда вас отпустят?

– Спросите у Далай-ламы, – проронила она с горечью. – Он кормит меня обещаниями, как обанкротившееся правительство, каждые три месяца сулящее народу новый кварталный план спасения нации.

При выезде на шоссе сани остановились. Мимо гуськом тянулась веселая группа туристов в лыжных костюмах. Подозрительно белокурая блондинка в голубом свитере вздумала обнять их лошадь. Та испуганно фыркнула.

– Come, Daisy, darling⁴, – нетерпеливо позвал блондинку один из туристов.

⁴ Дэзи, дорогая, пойдем! (англ.)

Лилиан раздраженно бросила в снег сигарету.

– Люди платят сумасшедшие деньги, чтобы сюда вскарабкаться, а мы все бы отдали, лишь бы спуститься обратно вниз, – умора, правда?

– Нет, – невозмутимо отозвался Клерфэ.

Сани снова тронулись.

– Дайте мне еще сигарету, – попросила Лилиан.

Клерфэ протянул ей пачку.

– Вам этого не понять, – пробормотала она. – Не понять, что здесь чувствуешь себя как в лагере военнопленных. Именно в плену, не в тюрьме. В тюрьме по крайней мере знаешь, когда выйдешь. А вот в плену, где ни срока, ни приговора...

– Понимаю, – проронил Клерфэ. – Сам бывал.

– Вы? В санатории?

– В лагере. Для военнопленных. В войну. Но у нас-то все наоборот было. Мы куковали в низине, на болотах, и Швейцарские Альпы казались нам вратами свободы. Тем более что из лагеря их было хорошо видно. А один из нас и вовсе был родом отсюда, так он нас своими рассказами чуть с ума не свел. Предложи нам тогда кто-нибудь освободиться, но с условием несколько лет прожить в горах, многие, думаю, согласились бы. Тоже умора, правда?

– Нет. А вы, вы бы согласились?

– Я бежать задумал.

– Кто же этого не задумывает? И что – бежали?

– Да.

Лилиан вся подалась вперед.

– И вам удалось уйти? Или вас поймали?

– Удалось. Иначе мы бы с вами сейчас не беседовали. Там все было без вариантов.

– А тот, другой? – спросила она немного погодя. – Ну, который про здешние горы рассказывал.

– Умер в лагере. От тифа. За неделю до освобождения.

Сани остановились перед отелем. Лишь тут Клерфэ заметил, что на Лилиан только легкие домашние туфельки. Он подхватил ее на руки, перенес через сугробы и перед входом снова поставил на ноги.

– Побережем атласные туфельки, – буркнул он. – Вы правда хотите в бар?

– Да. Мне надо чего-нибудь выпить.

В баре, топоча тяжеленными ботинками, лыжники танцевали с лыжницами. Официант предупредительно отвел их в угол, протер столик.

– Водки? – спросил он у Клерфэ.

– Нет. Чего-нибудь горячего. Глинтвейна или грога. – Клерфэ глянул на Лилиан. – Вы что из этого предпочитаете?

– Мне – водки. Разве сегодня, у нас, вы не водку пили?

– Да, но до еды. Давайте сойдемся на компромиссе, который французы величают «добрым боженькой в замшевых штанишках». Бордо.

Заметив, что она смотрит на него с недоверием, он понял: она считает, что он обходится с ней как с болящей, беречь ее вздумал.

– Я вас не дурачу, – успокоил он. – Будь я здесь один, я бы тоже заказал вино. Водки можно будет выпить завтра перед обедом сколько хотите. Сегодня же контрабандой прихватите с собой в санаторий бутылку.

– Хорошо. Тогда давайте пить то, что вы вчера пили во Франции – во Вьене, в «Отель де Пирамид».

Клерфэ про себя изумился: она запомнила оба названия. С ней, пожалуй, надо держать ухо востро: этак она не только названия на заметку будет брать.

– Это было бордо, – сказал он. – Лафит Ротшильд.

Соврал, конечно. Во Вьене он пил легонькое местное вино, такое нигде больше не закажешь, его не вывозят, но сейчас не стоило всего этого объяснять.

– Принесите нам Шато Лафит тридцать седьмого года, если у вас есть, – попросил он официанта. – Только не согревайте его горячей салфеткой. Несите как есть, прямо из подвала.

– Оно у нас хранится наверху, сударь, при комнатной температуре.

– Какое счастье!

Официант удалился в сторону бара, но тут же вернулся.

– Вас к телефону, господин Клерфэ!

– Кто?

– Не знаю. Спросить?

– Это из санатория! – нервно прошептала Лилиан. – Крокодил!

– Сейчас выясним. – Клерфэ встал. – Где кабинка?

– Сразу за входной дверью, справа.

– Можете подавать вино. Откупорьте бутылку, пусть подышит.

– Неужели Крокодил? – спросила Лилиан, когда он вернулся.

– Нет. Это был звонок из Монте-Карло. – Он замялся на секунду, но, увидев, как просветлело от облегчения ее лицо, решил: ей вовсе не помешает узнать, что еще где-то тоже умирают люди. – Из госпиталя в Монте-Карло, – добавил он. – Один мой знакомый там умер.

– Вам надо возвращаться?

– Нет. Там уже ничем не поможешь. К тому же для него, по-моему, это было счастье.

– Счастье?

– Да. Он разбился в гонке и, если бы выжил, остался калекой.

Лилиан смотрела на него в упор. Уж не ослышалась ли она? Что он городит, этот самоуверенный здоровяк, заявившийся сюда из совсем другой, благополучной жизни?

– Вам не кажется, что и калеке иногда тоже жить хочется? – тихо прошептала она в приступе внезапной ненависти.

Клерфэ ответил не сразу. В ушах у него все еще металлом звенел резкий, полный отчаяния голос другой женщины: «Мне-то что делать? Феррер ничего мне не оставил! Ни гроша! Приезжайте! Помогите мне! Я совсем на мели! А все по вашей вине! Это вы, вы все виноваты! Вы и ваши гонки проклятые!»

Он встряхнул головой, отгоняя воспоминание.

– Это как посмотреть, – бросил он устало. – Этот мой приятель был без ума от женщины, которая изменяла ему на каждом шагу, со всяким механиком. А еще он был без ума от гонок, хотя гонщик оказался так себе, средненький, и никогда бы ничего не достиг. Мечтой всей его жизни были большие победы в гонках – и эта женщина. И вот он умер, так и не узнав правды ни о себе как гонщике, ни об этой женщине. Умер, не успев узнать, что после аварии эта женщина вообще не захотела его видеть, потому что ему ампутировали ногу. Вот что я имел в виду, говоря про его счастье.

– Может, несмотря ни на что, он все еще хотел жить!

– Не знаю, – задумался Клерфэ, внезапно усомнившись в своей уверенности. – Но мне случилось видеть смерти куда тяжелее этой. Вам разве нет?

– Мне тоже, – кивнула Лилиан, упрямо не желая соглашаться. – Но все, кто умирал, хотели жить.

Клерфэ промолчал. «К чему я все это говорю? – думал он. – И чего ради? Не для того ли, чтобы убедить себя в том, во что и сам не верю? Этот жуткий, холодный, металлический женский голос по телефону!»

– Все там будем, – изрек он наконец почти с раздражением. – И никому не дано знать, когда и как настанет его черед. А коли так – какой прок выкраивать лишние минуты? И что вообще такое долгая жизнь? Всего-навсего долгое прошлое. А будущее у тебя только до следующего вздоха. Или до следующей гонки. Загадывать дальше никакого резона. – Он поднял свой бокал. – Выпьем за это?

– За что?

– За ничто. За ничто. Ну и еще, может, за чуток отваги.

– Устала я от этой отваги, – проронила Лилиан. – И от бесконечных увещеваний тоже устала. Расскажите мне лучше, как оно там, внизу. По ту сторону гор.

– Тоска. Только дождь. Которую неделю.

Она медленно поставила свой бокал на стол.

– Дождь! – повторила она мечтательно, и это прозвучало как «жизнь». – Здесь с октября дождя не было. Только снег. Я уж и забыла почти, как дождик капает...

Когда они вышли, падал снег. Клерфэ свистнул, подзывая извозчика.

Извилистым серпантином сани ползли в гору. Позвякивали бубенцы упряжи. Заснеженная дорога безмолвно терялась в снежной круговерти. Однако вскоре откуда-то сверху послышался перезвон бубенцов – кто-то ехал навстречу. Извозчик остановил лошадей под фонарем на разъездной площадке, пропуская встречные сани. Лошадь била копытами и недовольно фыркала. Наконец показались сани, приземистые, низкие, они проплыли мимо почти бесшумно и скрылись во мгле. Это были грузовые розвальни, и везли они длинный ящик, укрытый черной клеенкой. Подле ящика слабо колыхался небольшой клеенчатый шатер, из-под которого выглядывали цветы, и еще один, с венками.

Кучер перекрестился и тронул лошадь. Они в безмолвии одолели последние виражи дороги и подкатили к правому крылу санатория. Электрическая лампочка под фарфоровым абажуром выхватывала из тьмы желтый круг света на снегу. Несколько зеленых листков выделялись на этом желтом пятне. Лилиан вылезла из саней.

– Все бесполезно, – проронила она с утомленной улыбкой. – Забыть ненадолго можно, а избежать не получится.

Она отперла дверь.

– Спасибо, – пробормотала она смущенно. – И простите меня, компаньонкой я сегодня была никудышной. Но и оставаться в одиночестве было не вмоготу.

– Мне тоже.

– Вам? А вам-то почему?

– По той же причине, что и вам. Я же вам говорил. Звонок из Монте-Карло.

– Вы же сказали, что это счастье.

– Счастье – оно разное бывает. И говоришь иной раз тоже всякое. – Клерфэ полез в карман пальто. – Вот вишневка, которую вы обещали швейцару. А вот и водка, это уже для вас. Спокойной ночи.

3

Проснувшись поутру, Клерфэ первым делом увидел в окно насуспенное небо и услышал тихий перестук оконного стекла под порывами ветра.

– Фён, – посетовал официант. – Теплый ветер с юга. Слабость от него. Я его заранее чувствую, костями. Переломы болят.

– А вы что, лыжник?

– Да нет. Это с войны. Ранения.

– С войны? Вы же швейцарец?

– Австриец я, – буркнул официант. – И на лыжах свое отбегал давно. Одна нога только осталась. Но вы даже не представляете, как в такую вот погоду вторая болит, та, которой у меня нету.

– Как нынче снежок?

– Между нами – липнет, как патока. Хотя по гостиничной сводке снег отличный, рассыпчатый, особенно на верхних склонах.

Коли так, решил Клерфэ, лыжи сегодня могут и обождать. Тем более что он и правда чувствовал какую-то разбитость: похоже, насчет ветра официант не соврал. Да и голова болит. Это от коньяка, припомнил он. Какого черта он вчера еще и ночью, проводив до санатория экстравагантную барышню, этакий ходячий гоголь-моголь из вселенской скорби и жажды жизни, по коньяку решил ударить? Все-таки они странные, эти люди здесь наверху – словно вовсе без кожи. Вот и я когда-то примерно таким же был, подумалось ему. Как же давно, тысячу лет назад. Переменился до основания. Пришлось. А теперь что в остатке? Что, кроме цинизма, иронии и напускного превосходства? И будет ли что-то еще? Сколько еще ему суждено гоняться? А если его уже списали? Что тогда? Что его ждет? Место коммерческого представителя автомобильной фирмы в каком-нибудь провинциальном городишке, медленно подкрадывающаяся старость, бесконечные пустые вечера, иссякание сил, боль воспоминаний, разъедающая душу обида, – жизнь по трафарету, полупризрачное существование, изнуряющее само себя унылой чередой тусклых, повторяющихся буден?

«Вселенская скорбь заразительна», – подумал он, вставая. В расцвете лет – без цели, без опоры. Надел пальто и тут же обнаружил в кармане черную замшевую перчатку. Он обнаружил ее вчера вечером на столике в баре, когда, уже в одиночестве, снова туда вернулся. Скорей всего, это Лилиан Дюнкерк забыла. Он сунул перчатку обратно в карман: в санатории отдаст.

Добрый час он брел среди снегов по дороге, покуда не заметил в стороне, у самого леса, небольшое, кубической формы, здание, увенчанное куполом, над которым поднимался столб черного дыма. Он остановился. Смутное воспоминание шевельнулось в нем, неприятное, о чем-то жутком, чем-то, что он когда-то во что бы то ни стало хотел забыть и столько лет своей непутевой жизни угробил ради этого забвения.

– Это что там? – спросил он у молодого парня, расчищавшего снег перед лавчонкой.

– Там-то? Крематорий, сударь.

Клерфэ сглотнул. Значит, он не ошибся.

– Тут? – спросил он. – Тут-то вам зачем крематорий?

– Для больницы, ясное дело. Для покойников.

– И что, без крематория никак? Столько народу умирает?

Парень оперся на лопату.

– Сейчас-то уже не так много, сударь. Зато вот раньше, до войны, то есть еще до первой, и после нее – очень много бывало. Зимы у нас длинные, а зимой, сами знаете, каково оно землю

копать. Промерзает, камень просто. Крематорий куда сподручнее. Этот у нас уже лет тридцать как стоит.

– Тридцать лет? Выходит, он у вас появился еще до того, как крематории по-настоящему в моду вошли? Задолго до их массового применения.

Парень намека не понял.

– Мы у нас тут завсегда за все передовое, сударь. Да оно и дешевле обходится. А люди нынче не хотят кучу денег за транспортировку покойника выкладывать. Раньше-то по-другому было. Тогда родные оплачивали перевозку своих усопших в запаянных цинковых гробах. Золотые были времена, не чета нынешним!

– Это уж точно.

– Еще бы! Послушали бы вы, как папаша мой о них вспоминает! Он же этаким манером целый мир повидал!

– Это как же?

– Так сопровождающим, – охотно пояснил парень, явно удивляясь такой неосведомленности и недогадливости. – Люди тогда еще понимали, что такое уважение, сударь. И не позволяли переправлять своих усопших бог весть как, без присмотра. А уж за океан особенно. Отец мой, к примеру, всю Южную Америку вдоль и поперек объездил. Там раньше богачей было полно, и уж они своих покойников завсегда обратно требовали. На самолетах тогда еще не особенно летали. Вот и везли сперва по железной дороге, потом на корабле. Доставка иной раз неделями продолжалась. А какая кормежка, сударь, сопровождающему полагалась! Папаша мой меню собирал, они у него теперь все в переплетах. Однажды он знатную чилийскую даму переправлял, так за одну поездку он пятнадцать с лишним кило прибавил. Потому как все задаром, ешь-пей не хочу, и пиво тоже, а в конце, когда гроб сдаешь, тебе еще обязательно и подарок. Ну а потом, – парень угрюмо глянул на кубышку возле леса, над которой теперь струился лишь слабый дымок, – потом крематорий поставили. Сначала-то считалось, что только для неверующих, а теперь вон как в моду вошло.

– Что правда, то правда, – поддакнул Клерфэ. – И не только у вас.

Парень кивнул:

– Батя мой говорит: люди почтение к смерти потеряли. А все из-за двух мировых войн. Слишком много людей угрохали. Миллионами прямо. А он из-за этого работы лишился, так мой батя говорит. Теперь даже заокеанские родственники велят своих мертвецов сжигать, а урну с прахом им без забот, без хлопот самолетом доставляют прямиком до самой Южной Америки.

– Без сопровождающего?

– Да, сударь, без сопровождающего.

Дым над куполом развеялся окончательно. Клерфэ достал сигареты, протянул словоохотливому парню.

– Видели бы вы, какие сигары мой отец привозил, – протянул тот мечтательно, беря сигарету и задумчиво ее разглядывая. – Гаванские, сударь, самого высшего сорта. Целыми коробками! Такие и курить-то жалко, отец их здесь по отелям продавал.

– Чем же он теперь занимается?

– Теперь у нас здесь цветочный магазин. – Парень кивнул на лавчонку у себя за спиной. – Если вам что понадобится, сударь, так имейте в виду: у нас дешевле, чем у этих хапуг в деревне. И товар у нас бывает замечательный. Как раз нынче утром свежая партия пришла. Не хотите взглянуть?

Клерфэ задумался. Цветы? А почему бы и нет? Можно послать в санаторий этой нервической бунтарке, бельгийке с русскими причудами. Ее это приободрит. А если ее поклонник, неприятный русский зазнайка, об этом прознает, что ж, тем лучше. Клерфэ вошел в магазинчик.

Тронутый поворотом двери, тонко звякнул на шнурке колокольчик. Из-за шторы вышел продавец, с виду то ли официант, то ли церковный служка. Был он в темном костюме и на удивление маленького роста. Клерфэ с любопытством смотрел на этого человечка, которого представлял себе гораздо мускулистей и лишь теперь сообразил, что тот вовсе не обязан был сам таскать гробы.

Магазинчик оказался убогим, цветы так себе, за исключением немногих, резко отличавшихся от остальных – эти были на диво хороши. Особенно приглянулась Клерфэ ваза с белой сиренью и высокой веткой изящных белых орхидей.

– Свежайшие, еще в росе! – похвастался коротышка. – Сегодняшняя поставка. А орхидея вообще царская. Недели три простоит, никак не меньше. Редкий сорт.

– А вы хорошо разбираетесь в орхидеях?

– Так точно, сударь. Я много сортов повидал. И за границей тоже.

«В Южной Америке», – усмехнулся про себя Клерфэ. Не иначе, он после доставки гробов изредка позволял себе еще и небольшую экспедицию в джунгли, чтобы на старости лет было о чем порассказать детям, а потом и внукам.

– Запакуйте, – распорядился он, извлекая из кармана черную замшевую перчатку. – И вот это приложите. Конверт и открытка у вас, полагаю, найдутся?

Теперь он брел обратно в деревню. То ли чудится, то ли и вправду он временами все еще слышит этот сладковатый, тошнотворный запах крематорского дыма? Чудится, конечно: фён, правда, прижимает дым к земле, но сам-то крематорий вон как далеко уже, с такого расстояния ничего не учуешь. Нет, это просто память, это в ней горят печи, те самые, что пылали днем и ночью – совсем рядышком с лагерем, где его держали в плену. Те самые печи, о которых он так хотел забыть.

Он зашел в трактир.

– Вишневки, двойную.

– Возьмите лучше сливовицы, – посоветовал хозяин. – Сливовица у нас отменная. В вишневку нынче чего только не подмешивают.

– А в сливовицу нет?

– Сливовицу меньше знают, и на экспорт она не идет. Попробуйте.

– Хорошо. Дайте двойную.

Хозяин налил ему рюмку до краев. Клерфэ осушил ее одним махом.

– Опрокидываете вы знатно, – похвалил хозяин. – Только разве этак вкус различишь?

– Я и не хотел различать, я хотел от другого вкуса избавиться. Лучше повторите, теперь я и вкус распробую.

– Двойную?

– Двойную.

– Тогда и я за компанию, – крикнул хозяин. – Выпивон – штука заразительная.

– Даже у шинкарей?

– Я только наполовину шинкарь, а еще наполовину художник. Так, малюю кое-что на досуге. Постоялец один меня научил.

– Что ж, – сказал Клерфэ. – Тогда выпьем за искусство. Это одна из очень немногих вещей, за которые сегодня можно пить со спокойной совестью. Пейзажи не стреляют. Будем!

Он побрел в гараж, взглянуть, как там «Джузеппе». В сумрачных недрах ангара машина пряталась в самой глубине, уткнувшись радиатором в стену.

На входе Клерфэ остановился. В полутьме он разглядел за рулем чей-то силуэт.

– У вас что, подмастерья в автогонщиков играют? – спросил он у подошедшего хозяина.

– Так это не подмастерье. Это друг ваш. Он так сказал.

Приглядевшись получше, Клерфэ узнал Хольмана.

– Неужто соврал? – забеспокоился хозяин.

– Нет-нет, все так. И давно он здесь?

– Недавно. Минут пять.

– В первый раз пришел?

– Нет, с утра уже заходил, но ненадолго совсем.

Хольман их не видел – он сидел к ним спиной, прильнув к «баранке». С первого взгляда было ясно: он мчится по трассе в воображаемой гонке. Только сыто пощелкивал рычаг скоростей. Клерфэ подумал, помолчал, потом поманил за собой хозяина и вышел за ворота.

– Не говорите ему, что я его здесь видел, – сказал он.

Тот безучастно кивнул.

– Пусть делает с машиной что хочет. Вот, – Клерфэ вынул из кармана ключи от машины. – Дадите ему, если спросит. А если не спросит, оставьте их в замке зажигания, когда он уйдет. Пусть торчат до следующего раза. Мотор, разумеется, не запускайте. Вы меня поняли?

– Позволить ему делать что хочет? И с ключами тоже?

– Не только с ключами. С машиной, – бросил Клерфэ.

Хольмана он встретил в санатории уже за обедом. Вид у того был неважный.

– Фён, – поморщился друг. – В такую погоду всем тут неможется. Засыпаешь с трудом, спишь плохо, и сны дурацкие. А ты как?

– Обычное похмелье. Перебрал вчера.

– С Лилиан?

– Нет. После. Здесь, на высоте, пьется легко – зато наутро...

Клерфэ обвел глазами ресторанный зал. Народу немного. Латиноамериканцы в своем углу. Лилиан не видно.

– В такую погоду большинство в постели остаются, – пояснил Хольман.

– Ты уже гулял сегодня?

– Нет. Про Феррера что-нибудь слышно?

– Умер.

Они помолчали. Что тут еще скажешь?

– После обеда что собираешься делать? – спросил наконец Хольман.

– Посплю. Потом пройдуся. Обо мне не беспокойся. Я только рад побыть там, где кроме «Джузеппе» других машин почти нету.

Дверь распахнулась. В ресторан заглянул Борис Волков, завидев Хольмана, кивнул. Клерфэ он проигнорировал. И заходить не стал, тотчас прикрыв за собой дверь.

– Опять Лилиан ищет, – пояснил Хольман. – Одному богу известно, где она пропадает. Впрочем, может, и у себя в комнате.

Клерфэ встал.

– Пойду спать. Ты прав, от здешнего воздуха устаешь. Сегодня вечером спустишься? В смысле – сюда, поужинать?

– Конечно. У меня и температуры сегодня нет, а вчерашнюю я в температурный листок вносить не стал. Медсестра настолько мне доверяет, что позволила самому записывать температуру. Чувствуешь, на каком я счету? Знал бы ты, как я этот градусник ненавижу!

– Значит, в восемь?

– Нет, в семь. Слушай, может, еще где-то поужинаем? Тут тебе, наверно, скучно?

– Не валяй дурака. Не так уж много у меня в жизни было случаев насладиться кондовой, добротной довоенной скукой. Это в наши дни самое редкое, самое заманчивое из приключений, доступное в Европе одним швейцарцам, а больше никому, даже шведам: пока весь мир

спасением человечества занимался, у них, оказывается, национальная валюта обвалилась ко всем чертям. Тебе из деревни никакой контрабанды не захватить?

– Да нет. У меня все есть. К тому же сегодня у Марии Савиньи, итальянки одной, вечеринка намечается. Конспиративная, разумеется.

– Ты пойдешь?

Хольман покачал головой:

– Неохота. Такие сборища тут устраивают обычно по случаю чьего-нибудь отъезда. То бишь смерти, по-нашему говоря. Оставшиеся пьют и тешат друг друга разговорами – лишь бы снова храбрости набраться.

– Иными словами, что-то вроде поминок?

– Ну да, вроде того. – Хольман зевнул. – Время сиесты по здешнему распорядку. Предписано лежать и не разговаривать. Мне тоже. Так что до вечера, Клерфэ.

Кашель прекратился. Лилиан Дюнкерк в изнеможении откинулась на подушку. Утренняя жертва принесена, грядущий день оплачен. И вчерашний вечер тоже. Теперь она ждала, когда ее поведут на рентген. Этот еженедельный ритуал знаком ей уже до тошноты. И все равно она каждый раз нервничает.

Ей ненавистны постыдные интимности рентгеновского кабинета. Омерзительно стоять полуголой, ощущая на себе липкие взгляды врача-ассистента. Далай-ламы она не стесняется. Для него она просто больная – а вот для ассистента она, несомненно, еще и женщина. И смущает ее не столько собственная нагота, нет; смущает, что перед этим экраном она больше, чем голая. Получается, что она голая насквозь, до костей, со всеми своими трепещущими потрохами и органами. Для этих поблескивающих в красноватом полусвете очочков она предстает в такой обнаженности, какую сама никогда в жизни ни в каком зеркале не видела и не увидит.

Одно время они проходили рентген вместе с Агнессой Зоммервиль. Вот тогда она и подглядела, как из красивой молодой женщины Агнесса в один миг превращается в живой скелет, внутри которого вяло ворочаются, вздымаются желудок и легкие – словно ленивые белевые твари, казалось, изнутри пожирающие саму жизнь. Она видела, как этот скелет двигается, поворачивается, то боком, то грудью, как он дышит, как задерживает дыхание, как говорит, и знала, что сама, должно быть, выглядит под этими красноватыми лучами точно так же. И ей делалось не по себе, казалось жуткой непристойностью, что ассистент видит ее такой, особенно когда она слышала в темноте его дыхание.

Вошла медсестра.

– Кто передо мной? – спросила Лилиан.

– Госпожа Савиньи.

Лилиан набросила халатик и побрела за сестрой к лифту. В окно на нее глянула серая утренняя муть.

– Холодно сегодня? – поинтересовалась она.

– Нет. Четыре градуса.

«Скоро весна, – подумалось ей. – А с нею то и дело фён, этот недужный ветер, мокрота и слякоть, тяжелый, влажный воздух, которым по утрам так трудно дышать, что вот-вот задохнешься». Мария Савиньи вышла из рентгеновского кабинета, облегченно встряхнув волосами.

– Ну и как? – спросила Лилиан.

– Он ничего не говорит. Не в настроении. Как тебе мой новый халатик?

– Шелк просто чудесный.

– Правда? Это от Лизио, из Флоренции. – Поблекшее лицо Марии разом просияло в смешливой гримаске. – А что еще нам остается? Если уж нам запрещены вечерние выезды в свет, приходится щеголять нарядами здесь. Сегодня вечером заглянешь ко мне?

– Еще не знаю.

– Госпожа Дюнкерк, профессор ждет, – поторопила от дверей медсестра.

– Приходи! – не отступалась Мария. – Остальные тоже придут. У меня новые пластинки из Америки. Обалдеть!

Лилиан вошла в полумрак кабинета.

– Наконец-то! – буркнул Далай-лама. – Когда наконец вы отучитесь опаздывать!

– Мне очень жаль.

– Ладно. Температурный лист.

Сестра с готовностью протянула ему листок. Он посмотрел, пошептался с ассистентом. Лилиан прислушивалась, надеясь разобрать хоть слово. Не удалось.

– Свет выключаем! – привычно скомандовал Далай-лама. – Так, повернитесь вправо... Теперь влево... Обратно...

Фосфоресцирующий свет экрана мертвенными бликами ложился на лысину ассистента, отражался в его очках. Когда ей вот так приходилось то дышать, то не дышать, Лилиан становилось почти дурно, казалось, еще чуть-чуть, и она упадет в обморок.

А на сей раз ее просвечивали дольше обычного.

– Дайте-ка мне снова историю болезни, – пробурчал Далай-лама.

Медсестра включила свет. Лилиан все еще стояла перед экраном и ждала.

– У вас дважды был плеврит? – спросил Далай-лама. – Причем один раз по вашему собственному недосмотру?

Лилиан молчала. К чему эти вопросы? Там же все написано. Или Крокодил все-таки на нее настучала, и он напоминает ей все старые грешки, надумав опять устроить головомойку?

– Это так, мадемуазель Дюнкерк?

– Да.

– Вам повезло. Почти никаких рубцов. Только откуда, черт возьми... – Далай-лама вскинул глаза. – Пройдите, пожалуйста, в соседнюю комнату. Попрошу подготовить все к закачке полости, – распорядился он.

Лилиан последовала за медсестрой.

– В чем дело? – прошептала она. – Жидкость?

Сестра покачала головой.

– Может, перепады температуры.

– Но легкие тут совершенно ни при чем! Это просто от переживаний! Отъезд Агнессы Зоммервиль! А тут еще этот фён! Я же отрицательная! Я ведь не положительная? Или все-таки?..

– Нет-нет. Идите сюда, ложитесь. Вы должны быть готовы, когда профессор придет.

Она уже придвигала к кушетке штатив с аппаратом. Все впустую, думала Лилиан. Которую неделю я послушно выполняю все их требования, а вместо улучшения наверняка опять ухудшение. Ну не из-за того же, что я вчера сбежала? Вон у меня сегодня и температуры нет, а если бы проторчала весь вечер в палате – как раз бы и подскочила, тут не угадаешь. Что он на сей раз удумал? Ковыряться во мне начнет, пунктировать будет или опять накачивать как сдувшийся баллон?

Профессор тем временем вошел.

– У меня нет температуры, – выпалила Лилиан. – Это все только от волнения. У меня уже неделю как температуры нет, да и прежде была только от нервов. Это не от болезни...

Далай-лама сел возле кушетки и уже нащупывал точку для укола.

– В ближайшие дни будете оставаться в палате.

– Да не могу я все время в постели лежать! У меня как раз от этого и температура! Ведь это же с ума сойти!

– Я ведь сказал – побудете в палате. А в постели только сегодня. Сестра, йод. Вот сюда.

Уже в палате, переодеваясь, Лилиан изучала коричневое йодистое пятно у себя на коже. Потом, порывшись в шкафу, достала припрятанную в белье бутылку водки и, прислушавшись, не идет ли кто в коридоре, плеснула себе в стакан. С минуты на минуту должны принести ужин, и ей не хотелось, чтобы ее застукали за выпивкой.

Вроде бы я еще не совсем тощая, размышляла она, разглядывая себя в зеркало. Даже прибавила двести грамм. Большой успех! Она насмешливо чокнулась сама с собой и спрятала бутылку обратно: по коридору уже катили тележку с едой. Она достала из шкафа платье.

– Переодеваетесь? – удивилась сестра. – Да вам ведь нельзя выходить.

– Переодеваюсь, потому что в таком виде лучше себя чувствую.

Сестра только головой покачала.

– И что вам не ложится? Как бы я мечтала, чтобы мне еду в постель приносили.

– Полежите в снегу, заработайте себе воспаление легких, и вам тоже будут подавать еду в постель.

– Ой, только не мне! Я разве что простужусь малость, ну, насморк подхвачу. Тут посылка для вас. Похоже, цветы.

Борис, подумала Лилиан, принимая у нее из рук белую картонную коробку.

– Даже не откроете? – любопытствовала сестра.

– После.

Лилиан вяло поковыряла еду, потом отодвинула поднос. Сестра тем временем перестилала постель.

– Радио не включить? – спросила она. – Все повеселее будет!

– Если вам интересно, включайте.

Сестра подошла к приемнику, включила, повертела ручку настройки. Из Цюриха передавали доклад о Конраде Фердинанде Майере, из Лозанны – последние известия. Она покрутила еще и вдруг поймала Париж. Музыка, пианист играл Дебюсси. Лилиан подошла к окну, дожидаясь, когда же сестра наконец закончит уборку и уйдет. Уставившись в вечернюю мглу, она слушала музыку, и это было непереносимо.

– А вы бывали в Париже? – спросила сестра.

– Да.

– А я вот нет. Красотища, наверно.

– Когда я там жила, это был холод, мрак, тоска и все оккупировано немцами.

Сестра рассмеялась.

– Так то ж когда было. Сколько лет уже. Теперь-то наверняка там все как до войны. Неужели вам туда не хочется?

– Нет, – отрезала Лилиан. – Кому охота в Париж зимой? Вы закончили?

– Да-да, сию секунду. Куда вам так спешить? Дел-то никаких.

Сестра наконец ушла. Лилиан выключила радио. «Да, – думала она, – дел никаких. Только ждать?» А чего ждать? Чего ждать, когда вся жизнь сводится к ожиданию?

Развязав голубую шелковую ленту, она открыла нарядную белую коробку. Борис примирился с необходимостью торчать здесь, в горах, – или, по крайней мере, уверяет, что примирился. Ну а я?

Она раскрыла шелковистую оберточную бумагу – и в ту же секунду, будто там змея, вскрикнув, в ужасе выронила коробку.

Не веря себе, она смотрела на орхидеи у себя под ногами. Она же помнит эти цветы. Совпадение, промелькнуло в голове, жуткое совпадение, это другие цветы, не те же самые, другие, просто похожие! Но умом она уже осознавала: не бывает таких совпадений, и орхидеи этого сорта поставляются только на заказ, здесь, в деревне, их просто так не купишь. Еще бы ей не знать, она сама искала, сама спрашивала, сама заказывала из Цюриха. Она пересчитала цветки. Столько же. Потом, подметив, что на нижнем цветке недостает лепестка, вспомнила,

что обнаружила этот же дефект, когда вскрывала посылку из Цюриха. Нет, сомнений быть не могло – это те же самые цветы, которые она положила на гроб Агнессы Зоммервиль.

«Я и вправду становлюсь истеричкой, – подумала она. – Всему наверняка есть объяснение, эти цветы никакие не призраки, явившиеся из загробного мира меня пострадать, просто кто-то вздумал сыграть со мной злую шутку, только с какой стати? И как? Как могли эти орхидеи снова ко мне вернуться? И что означает эта черная перчатка, смахивающая на мертвую, почерневшую руку, что хищной хваткой вцепилась в ковер, словно жуткий привет от нечистой силы».

Робея, она обошла зловещую ветку, будто это и вправду змея. Цветы уже не казались ей цветами; соприкосновение со смертью придавало им нечто жуткое, и было что-то противоестественное в их нестерпимой, невероятной белизне. Она распахнула балконную дверь, осторожно, вместе с бумагой, подняла орхидею, кинулась к балкону и сбросила с балкона вниз. А потом и коробку сбросила туда же.

Какое-то время она вслушивалась в мглистый уличный сумрак. Вдалеке голоса, перезвон бубенцов, чьи-то сани. Она вернулась в комнату и тут снова увидела перчатку на полу. Только теперь она ее узнала, вспомнила, что надевала эти перчатки, когда ездила с Клерфэ в Паласбар. Клерфэ? – удивилась она. – Он-то здесь при чем? Сейчас выясним! Немедленно!

Он не сразу подошел к телефону.

– Это вы прислали мне мою перчатку?

– Да. Вы позабыли ее в баре.

– И цветы тоже от вас? Орхидеи?

– Ну да. Вы что, не видели мою открытку?

– Вашу открытку?

– Что, не нашли?

– Нет! – Лилиан сглотнула. – Еще нет. Откуда эти цветы?

– Из цветочного магазина, – в голосе Клерфэ звучало удивление. – А в чем дело?

– Здесь, в деревне?

– Ну да, но в чем дело? Они что, краденые?

– Нет. Хотя может быть. Не знаю. – Лилиан умолкла.

– Мне к вам приехать? – спросил Клерфэ.

– Да.

– Когда?

– Через час. Тогда уже все будет тихо.

– Хорошо, через час. Со служебного входа?

– Да.

Со вздохом облегчения Лилиан положила трубку. «Слава богу, – подумала она, – есть хоть кто-то, кому ничего не надо объяснять. Кому ты совершенно безразлична и кто не окружает тебя заботой, как Борис».

Клерфэ стоял у дверей служебного входа.

– Вы что, ненавидите орхидеи? – спросил он, кивнув на сугроб под стеной. Цветы и картонка все еще валялись там.

– Откуда они у вас?

– Из небольшого магазинчика, там, внизу, неподалеку от деревни. Да в чем дело-то? Они что, заколдованы злой феей?

– Эти цветы... – Лилиан с трудом подбирала слова. – Это те же цветы, которые я вчера положила на гроб моей подруги. И потом еще раз их видела, перед тем как гроб увезли. Здесь, в санатории, цветы не оставляют. Все увозят, я только что спрашивала у лакея. Вместе с гробом все отправили в крематорий. Я понять не могу, как...

– В крематорий? – переспросил Клерфэ.

– Ну да.

– Бог мой! Лавчонка, где я покупал цветы... там как раз крематорий недалеко совсем. Довольно убогий магазинчик, я еще удивился, откуда такие цветы. Это все объясняет!

– Что?

– Кто-то из крематория, вместо того чтобы сжигать цветы, продал их в магазин.

Она смотрела на него, не понимая.

– Как такое вообще возможно?

– А почему нет? Цветы – они и есть цветы, и все на одно лицо, если одного сорта. Вероятность, что кто-то узнает свои, между нами говоря, очень невелика. А уж вероятность, что редкая орхидея снова вернется в те же руки, которые ее отослали, и вообще настолько ничтожна, что такое совпадение никто в расчет принимать не станет. – Клерфэ взял ее под руку. – Ну что будем делать? Вместе обмирать от ужаса или лучше посмеемся над неистребимой предприимчивостью рода человеческого? Я предлагаю посмеяться; в наши дни, в этом нашем прекрасном столетии, не будь у нас возможности хоть изредка посмеяться, мир просто утонул бы в слезах.

Лилиан все еще смотрела на цветы.

– Мерзость какая, – прошептала она. – Обкрадывать умершую.

– Мерзость как мерзость, не хуже и не лучше многих других, – отозвался Клерфэ. – Я вот тоже не думал не гадал, что когда-нибудь буду обшаривать убитых в поисках хлеба и сигарет, а пришлось. В окопах. Это только сначала ужасно, а потом привыкаешь, особенно если голод донимает и без курева сидишь. Пойдемте лучше выпьем чего-нибудь.

Она по-прежнему не отрывала глаз от цветов.

– Так их тут и оставить?

– Конечно. Им уже нет дела ни до вас, ни до покойницы, ни до меня. Завтра пришлю вам новые. Из другого магазина.

Клерфэ откинул полость саней. И мельком успел перехватить взгляд кучера, со спокойным, деловитым любопытством устремленный на орхидеи. Он сразу понял: отвезя их с Лилиан в отель, этот пройдоха непременно сюда вернется и подберет цветы.

И что потом с ними будет, одному богу известно. На секунду Клерфэ задумался – не растоптать ли? Но с какой стати строить из себя Господа Бога? Кому и когда такое было в радость?

Сани остановились. От парадного входа по мокрому снегу переброшены были доски. Лилиан ступила на них. Сейчас, когда она, такая тоненькая, чуть клонясь вперед, придерживая на груди свой изящный жакет, в вечерних туфельках семенила по этой дощаной гати, она вдруг показалась ему диковинным экзотическим созданием, изысканно нездешним и фарфорово-хрупким в ореоле своей болезни, особенно на фоне всех этих топчущих лыжными ботинками здоровяков.

Он шел следом. Во что ты ввязываешься? – крутилось в голове. – И с кем? Но все равно, это совсем не то, что Лидия Морелли, которая час назад звонила ему из Рима. Лидия Морелли, которая назубок знает все уловки и ни одну не способна забыть хоть на миг.

Он нагнал Лилиан в дверях.

– Сегодня вечером, – сказал он, – мы ни о чем говорить не будем, кроме самых пустяшных вещей на свете.

Через час в баре было не протолкнуться. Лилиан глянула в сторону двери.

– А вот и Борис, – проронила она. – Как это я не подумала...

Клерфэ раньше нее завидел русского. Тот медленно протискивался к их столику сквозь толчею отдыхающих, что гроздьями облепили стойку. Клерфэ он демонстративно не замечал.

– Сани поданы, Лилиан, – сказал он.

– Отправь сани, Борис, – ответила она. – Мне они не понадобятся. Это господин Клерфэ. Вы с ним уже встречались однажды.

Клерфэ встал – чуть небрежнее, чем следовало.

– Неужели? – удивился Волков. – Ах да, в самом деле! Простите великодушно. – Он упорно смотрел чуть в сторону. – Это ведь вы были в гоночной машине, которая так напугала лошадей, верно?

Легкая нотка издевки в его голосе не укрылась от Клерфэ. Он ничего не ответил, просто стоял.

– Ты, должно быть, забыла, завтра с утра тебе снова на рентген, – заботливо напомнил Волков.

– Я помню, Борис.

– Но перед рентгеном тебе надо отдохнуть, как следует выспаться.

– Я знаю. Времени еще достаточно.

Она говорила с ним подчеркнуто ровным голосом, как с неразумным, непослушным ребенком. Клерфэ видел: для нее это единственный способ обуздать гнев, который вызывает в ней столь назойливая опека. Ему стало почти что жаль этого русского, настолько плохи, оказывается, его дела.

– Вы присесть не хотите? – не без тайного злорадства осведомился он.

– Благодарю, – холодно бросил тот, словно в ответ официанту, подбежавшему спросить: «Чего изволите?» Должно быть, тоже умеет расслышать издевку. – Мне тут надо еще кое с кем переговорить, – снова обратился он к Лилиан. – А ты тем временем могла бы уже в сани...

– Нет, Борис, я пока что хочу остаться.

Клерфэ все это надоело.

– Это я привез мадемуазель Дюнкерк сюда, – спокойно сказал он. – И, по-моему, я вполне в состоянии доставить ее обратно.

Теперь наконец-то Волков вскинул на него глаза. Он изменился в лице. Но нашел в себе силы улыбнуться.

– Боюсь, вы превратно меня поймете. Но объяснять вам все равно бесполезно.

Он поклонился Лилиан, и на мгновение показалось, что маска надменности на его лице вот-вот расползется. Но он все-таки совладал с собой и направился к бару.

Клерфэ снова сел. Он был собой недоволен. «Что мне здесь надо? – с досадой подумал он. – Мне давно уже не двадцать!»

– Почему бы вам с ним не поехать? – ворчливо спросил он.

– Хотите от меня избавиться?

Он взглянул на нее. Вид у нее был беспомощный, но ему ли не знать: беспомощность – самое страшное женское оружие. По-настоящему беспомощных женщин вообще не бывает.

– Конечно же, нет, – ответил он. – Значит, остаемся!

Она бросила взгляд в сторону бара.

– Он не уходит, – прошептала она. – Остался сторожить. Думает, я уступлю.

Клерфэ потянулся за бутылкой, налил ей и себе.

– Ну и хорошо. Посмотрим, кто продержится дольше.

– Вам его не понять, – с неожиданной резкостью заметила Лилиан. – Это не ревность.

– Нет?

– Нет. Он несчастлив, болен и заботится обо мне. Легко выказывать превосходство, когда ты здоров.

Клерфэ поставил бутылку. Ах ты, сердобольная бестия. Не успеешь тебя спасти, ты уже норовишь отрубить руку спасителя.

– Вполне возможно, – равнодушно проронил он. – Но разве быть здоровым – это преступление?

Она снова повернулась к нему.

– Конечно, нет, – пробормотала она. – Сама не знаю, что я говорю. Думаю, мне лучше уйти.

За сумочку она схватилась, но встать не встала. И хотя она уже порядком успела ему надоест, сейчас, покуда Волков там, у стойки, ее дожидается, он ни за что ее не отпустит – не настолько уж он успел состариться.

– Ничего, со мной можно не церемониться, – сказал он. – Я не особо чувствительный.

– Здесь все чувствительные.

– Но я-то не здешний.

– Верно, – она вдруг улыбнулась. – Должно быть, в этом все дело.

– В чем же?

– В чем-то, что всех нас сбивает с толку. Разве вы сами не видите? Даже Хольмана, вашего друга.

– Может быть, – озадаченно проговорил Клерфэ. – Наверно, не стоило мне приезжать. И Волкова я тоже сбиваю с толку?

– А вы не заметили?

– Возможно. Только зачем он так старается мне это показать?

– Он уходит.

Клерфэ и без нее это видел.

– А вы? – спросил он. – Вам разве не лучше тоже вернуться в санаторий?

– Кто же это знает? Далай-лама? Я? Крокодил? Господь Бог? – Она подняла бокал. – И кто будет в ответе? Кто? Я? Господь Бог? И за кого? Пойдемте лучше танцевать!

Клерфэ не двинулся с места. Она смотрела на него выжидающе.

– Вы что, тоже за меня боитесь? Считаете, мне нельзя...

– Ничего я не считаю, – невозмутимо ответил Клерфэ. – Просто танцевать не умею. Но если вам так хочется, можем попробовать.

Они направились к танцплощадке.

– Агнесс Зоммервиль все предписания Далай-ламы исполняла, – пробормотала Лилиан, когда тяжелое топанье лыжников обволокло их плотной шумовой завесой. – Все до единого.

4

В санатории было тихо. Начался так называемый час покоя. Пациенты, как жертвы перед закланием, молча возлежали на своих кушетках и шезлонгах, а горный воздух из последних сил вел в их телах безмолвную битву с беспощадным врагом, что в теплом сумраке легких пожирал их изнутри.

В голубых брючках Лилиан Дюнкерк сидела у себя на балконе. Минувшая ночь была уже позади и благополучно забыта. Здесь, наверху, всегда так: с наступлением утра ночные страхи развеиваются, как облачка на горизонте, и, стоит вспомнить, кажутся неправдоподобной, уму непостижимой чушью. Лилиан блаженно нежилась в теплом свете позднего утра. Мягкой, лучистой завесой свет окутывал ее всю, укрывая пеленой забвения день вчерашний, помогая не думать о завтрашнем. Прямо перед ней, в наметенном за ночь сугробчике, стояла бутылка водки, – та, что дал ей Клерфэ.

Зазвонил телефон. Она сняла трубку.

– Да, Борис... Нет, конечно, нет... Да разве мы могли бы докатиться до такого?.. Не будем лучше об этом... Разумеется, ты можешь заехать... Ну конечно, я одна, с кем мне тут быть?

Она вернулась на балкон, прикинула, не спрятать ли водку, но вместо этого принесла рюмку и откупорила бутылку. Водка была ледяная, на вкус замечательная.

– Доброе утро, Борис, – поздоровалась она, заслышав стук двери. – А я водку пью. Ты будешь? Тогда рюмку прихвати.

Откинувшись в шезлонге, она спокойно ждала. Волков вышел на балкон с рюмкой в руке. Лилиан вздохнула: слава богу, никаких нотаций, подумала она. Он налил себе. Она молча протянула ему свою рюмку. Он и ее наполнил до краев.

– В чем дело, душа⁵ моя? – спросил он. – Рентгена боишься?

Она покачала головой.

– Температура?

– Тоже нет. Даже пониженная.

– Далай-лама уже что-то сказал насчет твоих снимков?

– Нет. Да что он может сказать? Я и знать не хочу.

– Хорошо. За это и выпьем.

Он залпом опрокинул свою рюмку и отставил бутылку подальше.

– Налей мне еще, – попросила Лилиан.

– Ради бога, сколько угодно.

Она глянула на него с любопытством. Знает же: он ненавидит, когда она пьет. Но знает и другое: сейчас он побоится ее отговаривать. Достаточно умен и хорошо изучил ее нрав.

– Повторить? – спросил он вместо этого. – Рюмки-то маленькие.

– Нет, – она отставила рюмку, так и не выпив. – Борис, – начала она, с ногами забираясь в кресло. – Мы слишком хорошо понимаем друг друга.

– Правда?

– Ну конечно. Ты слишком хорошо понимаешь меня, я тебя, и в этом наша беда.

Волков рассмеялся:

– Особенно когда фён дует.

– Не только.

– Или когда загадочные визитеры нагрянут.

⁵ В оригинале автор употребляет русское слово «душа».

– Вот видишь, – подхватила она. – Тебе уже и причина известна. Ты все можешь объяснить. А я ничего. Ты все заранее обо мне знаешь. Как я от этого устала! Скажешь, это тоже фён?

– Фён, а еще весна.

Лилиан прикрыла глаза. Из-под век она чувствовала легкую, беспокойную дрожь – то ли в воздухе, то ли где-то в себе.

– Почему ты не ревнуешь?

– Я ревную. Всегда.

Она открыла глаза.

– К кому? К Клерфэ?

Он покачал головой.

– Так я и думала. Тогда, значит, к чему-то?

Волков не ответил. Зачем она спрашивает? И что вообще знает об этом? Ревность не с ним родилась, не с ним умрет. Она обнимает собою все, начиная с воздуха, которым любимый человек дышит. И не кончается никогда, даже со смертью ревнивца.

– Так что, Борис? – не унималась Лилиан. – Значит, все-таки к Клерфэ?

– Не знаю. Может, к чему-то, что вместе с ним появилось.

– Да что появилось-то? – Лилиан потянулась, снова смежая веки. – Можешь не ревновать. Клерфэ через пару дней уедет и забудет про нас, а мы про него.

Какое-то время она молча, с закрытыми глазами, лежала в шезлонге. Волков, сидя чуть позади, читал. Солнце поднялось выше и, тронув глаза теплой лучистой полосой, заиграло под веками оранжево-золотистыми бликами, мгновенно согрев их изнутри.

– Иногда, Борис, меня так и тянет совершить какое-нибудь безрассудство, – призналась она. – Лишь бы разбить этот стеклянный колпак, под который мы угодили. И ринуться туда, вниз – лишь бы прочь отсюда.

– Этого всем хочется.

– И тебе?

– И мне.

– Так чего ради мы тут сидим?

– Это ничего не даст. Только зря о стенки расшибемся. Или, если разобьем – поранимся осколками и истечем кровью.

– И ты вместе со мной?

Борис смотрел в это узкое, точеное лицо. Как же она заблуждается на его счет! А ведь уверена, будто мы знаем друг друга!

– Просто я этот колпак принимаю как данность, – сказал он, хоть это и была неправда. – Так проще, душа моя. Чем убиваться от бессильной ярости, не лучше ли попробовать приспособиться, сжиться?

Лилиан почувствовала, как волной накатывает усталость. Опять эти бесконечные разговоры, в которых застреваешь, как в паутине. Это все правильные вещи, да толку что?

– Принять как данность – это смириться, – пробормотала она немного погодя. – Не настолько я еще состарилась.

«Почему он не уходит? – думала она с досадой. – И зачем я оскорбляю его, хоть вовсе этого не хочу. Зачем упрекаю в том, что он торчит здесь дольше меня, но наделен счастливой способностью относиться к этому иначе, нежели я? Почему меня так раздражает в нем это смирение пленника, который, сидя в темнице, благодарит Бога за то, что его не убили – в то время, как я этого Бога готова возненавидеть за то, что меня лишили свободы?»

– Не слушай меня, Борис, – вздохнула она. – Бог знает, что я несу. Это просто пустой день, и водка, и фён. А еще, наверно, все-таки результатов рентгена боюсь, только не хочу в этом признаваться. Здесь, наверно, когда нет вестей – это плохие вести.

Внизу, в деревне, ударили колокола. Волков встал и приспустил шторы от солнца.

– Эву Мозер завтра выписывают, – сообщил он. – Она выздоровела.

– Знаю. Ее уже два раза выписывали.

– На сей раз она и вправду выздоровела. Мне сама Крокодил сказала.

Сквозь затихающий перезвон колоколов она вдруг расслышала низкий, напористый рев «Джузеппе». Уверенно одолев последние виражи шоссейного серпантина, машина затормозила. Лилиан удивилась: с чего это вдруг Клерфэ пригнал ее сюда, прежде такого не бывало. Волков встал с кресла и глянул в ту же сторону.

– Надеюсь, он не собирается обучать машину азам горнолыжного спуска, – съязвил Волков.

– Скажешь тоже. Что тебе опять не так?

– Он же ее на склоне поставил, вон, за елками. Прямо на краю поляны для начинающих. Нет бы перед отелем, как все люди.

– Захотел и поставил, ему лучше знать, зачем. Скажи лучше, почему, собственно, ты его так невзлюбил?

– Да черт его знает. Наверно, потому, что сам когда-то был таким же.

– Ты? – переспросила Лилиан уже сонным голосом. – Давно же, наверно, это было.

– Да, – проронил Волков с горечью. – Очень давно.

Полчаса спустя она услышала рокот мотора – Клерфэ снова уехал. Борис еще раньше ушел. Она полежала еще немного с закрытыми глазами, всматриваясь в светящуюся мглу у себя под веками. Потом встала и спустилась вниз.

К немалому ее изумлению, на скамейке перед входом сидел Клерфэ.

– Мне казалось, вы недавно уехали, – сказала она, садясь рядом. – Или у меня уже галлюцинации?

– Нет. – Он шурился на ярком солнце. – Это Хольман был.

– Хольман?

– Ну да. Я попросил его сгонять в деревню, водки купить.

– На машине?

– Ну да. На машине. Ему давно пора обратно в тачку.

Издали уже снова нарастало рычание мотора. Клерфэ встал, прислушиваясь.

– Сейчас поглядим, как он поступит – паинькой вернется сюда или удерет вместе с «Джузеппе».

– Удерет? Куда?

– Да куда угодно. Бензина в баке достаточно. Пожалуй, даже до Цюриха хватит.

– Что? – Лилиан не верила своим ушам. – Что вы такое говорите?

Клерфэ снова прислушался.

– Он не вернется. Поехал по проселку к озеру, а там рванет на шоссе. Смотрите, вон он, прямо под Палас-отелем. Слава богу!

Лилиан вскочила.

– Слава богу? Вы с ума сошли? Отпустить его на все четыре стороны в открытой машине? Хоть до Цюриха! Вы что, не понимаете – он болен.

– Как раз поэтому. А то он уже считал, что водить разучился.

– А если он простудится?

Клерфэ рассмеялся:

– Он тепло одет. К тому же для гонщиков машина – все равно что вечернее платье для женщины. Если платье или машина по вкусу – никакая простуда нипочем.

Лилиан все еще сверлила его глазами.

– А если все-таки простудится? Вы хоть знаете, что это здесь, наверху, значит? Жидкость в легких, рубцы, тяжелый рецидив. Люди здесь от простуды умирают!

Клерфэ смотрел на нее с неприкрытым интересом. Такая она нравилась ему куда больше, чем вчера вечером.

– Хорошо бы, вы сами об этом помнили, когда на ночь глядя, вместо того чтобы в постельке лежать, в Палас-бар удираете, в одном платьишке и атласных башмачках.

– К Хольману это не имеет отношения!

– Разумеется, нет. Но я верю в лечебный эффект запретного плода. Мне казалось, вы тоже.

Лилиан на секунду смешалась.

– Для себя – да, – буркнула она затем, – но не для других.

– Это хорошо. Большинство-то за других предпочитают решать. – Клерфэ все еще смотрел в сторону озера. – Вон он, вон он! Видите? Вы послушайте только, как он повороты берет! Не разучился! Нынче вечером он будет другим человеком!

– Где? В Цюрихе?

– Да где угодно. Может, и здесь.

– Вечером он в постели будет валяться, с температурой.

– Не думаю. Но хотя бы и так! Лучше пару дней с температурой, чем, как в воду опущенный, тайком вокруг машины слоняться и убогим себя считать.

Лилиан вздрогнула. «Убогим! – пронеслось в голове. – Только потому, что он болен. Что он себе позволяет, этот мужлан бесчувственный!» Может, он и ее убогой считает? Ей вспомнился вечер в Палас-баре, когда ему из Монте-Карло звонили. Он тогда вот так же про увечье друга говорил.

– Пара дней с температурой может обернуться здесь воспалением легких со смертельным исходом! – гневно выпалила она. – Но вам, похоже, на это плевать! В случае чего скажете, что для Хольмана это было счастье – умереть, прокатившись напоследок на спортивном автомобиле и почувствовав себя великим гонщиком.

Она тут же пожалела о своей вспышке. Сама не понимала, с чего вдруг она так вскипела.

– Память у вас хорошая, – добродушно усмехнулся Клерфэ. – Это я уже успел заметить. Но успокойтесь: в этой машине сейчас больше рева, чем скорости. С цепями на колесах особо не разгонишься.

И он вдруг обнял ее за плечи. Она сидела молча, не шевелясь. И тут увидела, как далеко внизу, у озера, из-за полосы леса маленькой черной точкой выскочил «Джузеппе». Деловитый, стремительный, он гулким шмелем неся по белому холсту заснеженной, искрящейся на солнце равнины. Она слышала уверенный перестук мотора, многоголосым эхом раскатывающийся в горах. Шмель мчался к шоссе, что ведет к перевалу, на ту сторону, и Лилиан вдруг поняла: именно это ее так волнует. Она проводила глазами исчезнувшую за поворотом машину. Остался только гул мотора, и это был не просто шум – неистовый, призывный, он манил за собой, как барабанный бой, как сигнал к наступлению, к походу неведомо куда.

– Надеюсь, он не удумал и вправду дать деру.

Лилиан ответила не сразу – у нее вдруг пересохло в горле.

– От чего ему удирать? – через силу выдавила она. – Он ведь почти вылечился. Какой смысл как раз сейчас всем рисковать.

– Порой как раз тогда и тянет всем рискнуть.

– Вы бы на его месте рискнули?

– Не знаю.

Лилиан собралась с духом.

– А если бы знали, что никогда не выздоровеете – рискнули бы? – вымолвила она.

– Вместо того, чтобы здесь оставаться?

– Вместо того, чтобы пару лишних месяцев влачить здесь это жалкое существование.

Клерфэ улыбнулся. Жалкое существование ему лично рисовалось несколько иначе.

– Смотря что под этим понимать, – уклончиво заметил он.

– Жизнь с оглядкой, – выпалила Лилиан.

Он усмехнулся:

– Нашли кого спрашивать... Автогонщика.

– Вы бы рискнули?

– Понятия не имею. В таких вещах заранее ничего знать нельзя. Может, и рискнул бы, чтобы, не думая о сроках, напоследок еще раз урвать от жизни все, что зовется жизнью, а может, наоборот, стал бы жить по часам, дорожа каждым днем и каждой минутой. Говорю же, заранее тут ничего не знаешь. Иной раз жизнь такие сюрпризы подбрасывала...

Лилиан выскользнула из-под его руки.

– Но разве этот вопрос вам не приходится решать перед каждой гонкой?

– Да это только выглядит так. На самом деле все по-другому. Я же не из азарта гоняюсь. Только ради денег, и то потому, что ничего другого в жизни не умею. Нет для меня в этом ни романтики, ни жажды приключений. Приключений наш проклятый век мне и так подарил больше, чем достаточно. Вам, вероятно, тоже.

– Да, – отозвалась Лилиан. – Но это все было не то.

Тут оба вдруг снова услышали рокот мотора.

– Он возвращается, – сказал Клерфэ.

– Да. Он возвращается, – с глубоким вздохом повторила Лилиан. – Вы разочарованы?

– Нисколько. Просто хотел, чтобы он снова сел за руль. В последний раз он был за рулем, когда у него кровотечение открылось.

Лилиан следила за контуром «Джузеппе», стремительно приближавшегося по ленте шоссе. И вдруг поняла: лицеизреть сейчас сияющую физиономию Хольмана просто выше ее сил.

– Мне надо идти, – порывисто сказала она. – Крокодил меня уже ищет. – И, уже поворачиваясь к подъезду, вдруг спросила:

– А вы когда поедете за перевал?

– Когда вам будет угодно, – только и ответил Клерфэ.

Было воскресенье, а воскресные дни здесь, в санатории, тянулись куда тоскливей будничных. Было что-то мертвенное в этом покое, лишенном привычной медицинской суеты. Врачи заходили в палату лишь по вызову, а их отсутствие пробуждало у пациентов обманчивые иллюзии, будто они здоровы. Они и вели себя по воскресеньям особенно беспокойно, так что под вечер медсестрам частенько приходилось разыскивать лежащих где угодно, только не у себя в палате.

Невзирая на запреты, Лилиан решила спуститься к ужину: по воскресеньям Крокодила на посту обычно не было. Она выпила две рюмки водки, надеясь разогнать вечернюю меланхолию, – не помогло. Надела свое лучшее платье, ведь любимый наряд порой поднимает настроение лучше всяких самовнушений, но не помогло и это. Острый приступ хандры, мировой скорби, препирательств со Всевышним – недуга, который без видимой причины поражал здесь каждого, накатывая внезапно и столь же внезапно проходя, – этот приступ все никак не кончался. Траурной темнокрылой бабочкой он порхал вокруг и не желал улетучиваться.

Лишь войдя в ресторан, она поняла, из-за чего сегодня не в духе. Зал был полон, а посередине, за одним из столиков, восседала Эва Мозер в окружении полудюжины клевретов. Перед виновницей торжества стояли торт, бутылка шампанского, в красивых обертках лежали подарки. Праздновался ее последний вечер в санаторских стенах. Назавтра после обеда назначен был отъезд.

Лилиан уже хотела было повернуть, но тут заметила машущего ей Хольмана. В полном одиночестве тот расположился неподалеку от столика, за которым тремя черными траурными изваяниями застыли латиноамериканцы, – все еще ждут смерти Мануэлы.

– Я сегодня ездил на «Джузеппе», – гордо сообщил Хольман. – Вы видели?

– Да. А кто еще вас видел?

– В смысле?

– Крокодил? Далай-лама?

– Да нет. Никто. Машина-то вдалеке стояла, около спуска для начинающих. Вряд ли кто углядел. А даже если! Все равно я счастлив! Я-то уж думал, что никогда больше нашу старушку водить не смогу.

– Сегодня, похоже, у нас вечер счастливых, – проронила Лилиан с горечью. – Вы только поглядите на это!

Она показала глазами на столик, за которым, сияющая, полнолицая, в окружении друзей-подружек сидела Эва Мозер. У нее был вид человека, только что отхватившего главный приз в лотерею и не знающего, куда деваться от толпы новоявленных почитателей.

– Ну а вы? – спросила Лилиан Хольмана. – Температуру мерили?

Хольман только рассмеялся:

– Завтра успеется. Сегодня и думать об этом не хочу.

– А по-моему, у вас жар, вам не кажется?

– Мне все равно. Да и не кажется мне.

«Зачем я к нему пристаю? – с досадой подумала Лилиан. – Неужели я ему завидую, как все вокруг завидуют Эве Мозер?» – Клерфэ сегодня не придет? – вдруг вырвалось у нее.

– Нет. К нему сегодня кое-кто приехал. Да и с какой стати ему каждый день сюда таскаться? Ему, должно быть, скучно здесь.

– Тогда почему он не уезжает? – спросила Лилиан сердито.

– А он и уедет. На днях. В среду или в четверг.

– На этой неделе?

– Ну да. Наверно, вместе с гостьей своей и уедет.

Лилиан промолчала; она не знала, нарочно Хольман про гостью упомянул или нет, но именно поэтому решила считать, что нарочно, и не стала ни о чем расспрашивать.

– У вас выпить не найдется? – вместо этого спросила она.

– Ни капли. Остатки джина я сегодня Шарлю Нею отдал.

– Но разве днем вы за бутылкой водки не ездили?

– Бутылку я Долорес Пальмер пожертвовал.

– С чего вдруг? Образцовым пациентом решили стать?

– Вроде того, – слегка смутившись, ответил Хольман.

– Сегодня днем вы таким паинькой еще не были.

– Как раз поэтому, – сказал Хольман. – Хочу снова ездить.

Лилиан отодвинула тарелку.

– С кем же теперь мне удирать отсюда по вечерам?

– Да найдутся охотники. И Клерфэ еще не уехал.

– Допустим. А потом?

– Разве Борис сегодня не заглянет?

– Нет. Не заглянет. Да с ним и не удерешь. Я сказала ему, что у меня голова болит.

– А она у вас болит?

– Болит. – Лилиан встала. – Раз уже сегодня все такие счастливые, осчастливорю-ка я нашего Крокодила. Пойду спать. В объятиях Морфея. Спокойной ночи, Хольман.

– Что-нибудь не так, Лилиан?

– Ничего. Обычная тоска. Симптом хорошего самочувствия, как сказал бы Далай-лама. Потому что при плохом самочувствии пациенту уже не до мерехлюндии. На страхи и панику просто сил не остается. До чего же Бог милостив, не правда ли?

Ночная сестра обход закончила. Сидя на кровати, Лилиан тщетно пыталась читать. Потом все-таки отложила книгу. Снова ей предстоит ночь – мучительное ожидание сна, потом сон, прерываемый провалами внезапных пробуждений, когда летишь в невесомости, не ведая, где ты и кто, не узнавая ни стен, ни себя в этих стенах, просто сквозь свист и нескончаемость секунд падаешь во тьму, а вокруг лишь страх, муторный морок смерти, покуда из черноты смутно не проступит прямоугольник окна, а перекрестье рамы не перестанет казаться крестом на вселенском погосте, комната не станет знакомой палатой, а жалкий комочек первобытного ужаса с застрявшим в горле криком не окажется ею, живым существом, на кратчайший миг вечности обретшим имя Лилиан Дюнкерк.

В дверь постучали. В коридоре стоял Шарль Ней в тапочках и пурпурном шлафроке.

– Все чисто, – прошептал он. – Пошли к Долорес! Эва Мозер прощается.

– Куда? Зачем? Чего ради она снова прощаться надумала?

– Это мы хотим попрощаться. Не она.

– Так ведь прощались уже, в ресторане.

– То было так, для отвода глаз. Пошли, не порть людям вечер.

– Да неохота мне.

Шарль Ней вдруг бухнулся на колени перед ее кроватью.

– Пойдем, Лилиан, кудесница лунного серебра, чаровница дыма и пламени! Сама подумай: останешься здесь – будешь злиться в одиночестве, пойдешь туда – будешь злиться, что пошла. Что здесь злиться, что там – не все ли равно! Пошли!

Он вдруг прислушался, потом приоткрыл дверь. Из коридора еще явственней донесся стук костылей. Мимо проковыляла старушка.

– Видишь, все идут. Даже стрептомициновая Лили. А вот и Ширмер с Андре.

Мимо проехал и Седая Борода в кресле-каталке, которую чарльстонной припрыжкой вез вихлявый молодой человек.

– Смотри, даже мертвецы восстают, чтобы сказать Эве Мозер «*Ave Caesar, morituri te salutant*», ⁶ – не унимался Шарль Ней. – Хоть на один вечер забудь свою русскую хандру, вспомни жизнелюбивый нрав твоего валлонского папаши! Одевайся и пошли!

– И не подумаю одеваться. В пижаме пойду!

– Приходи в пижаме. Только приходи!

Долорес Пальмер жила этажом ниже. Вот уже три года она обитала в роскошной палате, представлявшей собой настоящие апартаменты: спальня, гостиная, ванная комната. За эти хоромы она и платила больше всех и в санатории, а подобострастным почтением персонала пользовалась беззастенчиво и безмятежно.

– У нас для тебя две бутылки водки в ванной, – объявила она Лилиан. – Где хочешь сесть? Рядом с виновницей торжества, отправляющейся прямоком в здоровую жизнь, или среди остающейся братии? Выбирай сама.

Лилиан огляделась. Картина была привычная: занавешенные полотенцами лампы, Седая Борода в инвалидном кресле обслуживает граммофон, раструб которого для приглушения звука заткнут тряпьем, стрептомициновая Лили устроилась в уголке прямо на полу, ведь от сильных наркотических лекарств у нее проблемы с равновесием и она – чуть что – падает.

⁶ «Здравствуй, Цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя» (лат.) – слова, которыми идущие на бой гладиаторы приветствовали императора.

Остальные со шкодливо-напускным азартом баловников на состарившихся детских лицах расселись как попало. Долорес Пальмер была сегодня в длинном платье китайского шелка с разрезом внизу. Лицо ее было отмечено печатью трагической красоты, которую сама она не признавала. Зато ее любовников этот облик завораживал, словно фата-моргана в пустыне. Домогаясь ее, они изощрялись в экстравагантностях, меж тем как сама Долорес мечтала о жизни простой, с незатейливыми радостями мещанской роскоши. Роковые страсти только докучали ей, но, поскольку она их пробуждала, ей то и дело приходилось им противостоять.

Эва Мозер сидела у окна, тоскливо глядя на улицу. Куда только подевалось ее недавнее счастье!

– Она ревет, – вздохнула Мария Савиньи, обращаясь к Лилиан. – Как тебе это понравится?

– С чего вдруг?

– Сама спроси. Ты все равно не поверишь. Считает, что ее дом здесь.

– Да, мой дом здесь, – запричитала Эва Мозер. – Здесь я была счастлива. Здесь у меня друзья. А внизу я никого не знаю.

На секунду все смолкли.

– Но вы можете остаться, – попытался утешить ее Шарль Ней. – Вас никто не гонит.

– Гонит! Родной отец гонит! Говорит, ему не по карману меня здесь держать! Хочет, чтобы я профессию освоила. Какую еще профессию! Я же ничего не умею. А то немного, что раньше умела, здесь позабыла.

– А здесь все забываешь, – безмятежно изрекла из своего угла стрептомициновая Лили. – Кто здесь пару годков пробыл, тот внизу считай что уже не жилец.

Лили вот уже сколько лет оставалась у Далай-ламы на положении подопытного кролика: тот опробовал на ней новые методы лечения. Сейчас он испытывал на ней стрептомицин. Лекарство она переносила плохо, но даже надумай Далай-лама махнуть на нее рукой и выписать, участь Эвы Мозер несколько Лили не грозила. Единственная из пациентов санатория, она была родом из здешних краев и запросто нашла бы себе место – все знали, какая замечательная она кухарка.

– На что я гожусь? – продолжала ныть Эва Мозер, все больше впадая в панику. – В секретарши? Да кто меня возьмет? На машинке еле-еле тюкаю. К тому же секретаршу из санатория все бояться будут, вдруг заразная.

– Пойдете секретаршей к чахоточному, – прокаркал Седая Борода от граммофона.

Лилиан смотрела на Эву во все глаза, словно перед ней доисторическое ископаемое, вдруг выползшее из-под земли на поверхность. Ей и раньше случалось видеть выписанных пациентов, которые уверяли, будто предпочли бы остаться, но делали это просто из деликатности, щадя чувства остающихся да и в себе стараясь заглушить неловкость, чуть ли не стыд дезертиров, покидающих медицинское поле брани. Но с Эвой Мозер все иначе, она паникует всерьез, отчаивается без всяких шуток. Ее и правда страшит жизнь внизу.

Долорес Пальмер придвинула к Лилиан рюмку водки.

– Ну и особа! – прошипела она, с отвращением глядя на Эву. – Что за манеры! Что она себе позволяет! Какое непотребство, скажи?

– Я пойду, – заявила Лилиан. – Это выше моих сил.

– Не уходи! – взмолился Шарль Ней. – О ты, прекрасный, мерцающий свет неведомого, побудь еще немного! Эта ночь полна теней и банальностей, и вы с Долорес нужны нам, как путеводные галеоны перед нашими изодранными парусами, лишь бы не разбиться об утесы гибельных пошлостей из уст Эвы Мозер. Спой нам, Лилиан!

– Только этого не хватало. Что спеть? Колыбельную всем так и не рожденным детям?

– У Эвы будут дети! Много детей – ручаюсь! Нет, спой песню об облаке, которое проплывает и не вернется, о снеге, запорошившем сердце. Об изгнанниках, заплутавших в горах.

Спой нам! Нам, а не этой кухонной амебе Эве! Это нам, только нам нужно темное вино самоупоения сегодня ночью, поверь мне! Безудержная сентиментальность облегчает душу лучше всяких слез.

– Не иначе, Шарль откопал-таки где-то полбутылки коньяка, – деловито отметила Долорес, на своих длинных, высоких ногах направляясь к граммофону. – Поставь нам лучше какую-нибудь из новых американских пластинок, Ширмер.

– Чудовище, а не женщина! – простонал Шарль Ней, провожая ее глазами. – Прекрасна, как вся поэзия мира, но в голове арифмометр. Я люблю ее, как любишь джунгли, а она отвечает мне, как огород. Что мне делать?

– Упиваться и страданием, и счастьем.

Лилиан встала. В ту же секунду дверь распахнулась, и в проеме возникла Крокодил.

– Так я и знала! Сигареты! Алкоголь в палате! Оргия! И даже вы здесь, мадемуазель Руэш! – прошипела она в сторону стрептомициновой Лили. – На костылях, а туда же! И вы туда же, господин Ширмер! Вы тоже! Вам давно пора лежать в кровати!

– Мне давно пора лежать в могиле, – радостно откликнулся седобородый. – Теоретически я давно уже там! – Он остановил граммофон, вытащил из раструба комок шелкового исподнего и помахал им в воздухе. – И живу считай что взаимы. А для такой жизни и законы другие, чем те, что я соблюдал от рождения.

– Вот как? Это какие же, позвольте спросить?

– А вот какие: бери от жизни что можно, и чем больше, тем лучше. А уж как этого достичь – личное дело каждого.

– Попрошу вас немедленно отправиться в кровать. Кто вас сюда привез?

– Мой собственный разум.

Седая Борода забрался в кресло-каталку. Андре явно не решался его везти. Лилиан выступила вперед.

– Я вас отвезу. – И покатила кресло к двери.

– Значит, это вы! – взъярилась Крокодил. – Так я и думала!

Лилиан вывезла коляску в коридор. Шарль Ней и остальные последовали за ней, хихикая, как застуканные за очередной проказой детишки.

– Минуточку! – возгласил вдруг Ширмер, разворачиваясь вместе с креслом обратно к двери. – Того, что вы упустили на своем веку, – объявил он Крокодилу, – троим вашим больным хватило бы для долгой счастливой жизни. Спите спокойно, уж вашу-то чугунную совесть ничто не потревожит.

Он развернул кресло обратно. Дальше по коридору его покатила уже Шарль Ней.

– К чему столько пафоса, дружище? – рассуждал он. – Эта дрессированная зверюга только исполняет свой долг.

– Да знаю я. Но с каким высокомерием! Ничего, я еще ее переживу. Предшественницу ее пережил, хотя той всего сорок четыре было, а она за какой-нибудь месяц возьми и помри от рака, – а уж эту тварь... Кстати, а сколько вообще лет нашему Крокодилу? За шестьдесят-то уж точно. Если не все семьдесят. Переживу и ее!

– Какая возвышенная цель! – ухмыльнулся Шарль. – И до чего мы все-таки благородные люди!

– О нет, – с мрачным удовлетворением прокаркал Седая Борода. – Мы обречены смерти. Но мы такие не одни. Остальные тоже обречены. Все! Все поголовно! Просто мы сознаем это. А другие нет.

Примерно полчаса спустя в палату Лилиан вдруг заявила Эва Мозер.

– Моя постель не у вас? – спросила она.

– Ваша постель?

– Ну да. Мою палату уже убрали. И всю одежду куда-то запрятали. Но где-то же мне надо спать? Куда могли подеваться мои вещи?

Это был обычный санаторский розыгрыш: когда кого-то выписывали, в ночь перед отъездом припрятать его вещи. Эва Мозер была в отчаянии.

– У меня же все было выстирано-выглажено. А вдруг перепачкается! Мне теперь там, внизу, каждый грошик считать придется.

– Неужели отец о вас не позаботится?

– Ему бы только избавиться от меня. По-моему, он снова жениться надумал.

Лилиан вдруг поняла, что не в состоянии больше выносить это плаксивое существо ни секунды.

– Идите к лифту, – сказала она. – Спрячьтесь там где-нибудь и дождитесь, пока не придет Шарль Ней. Он ко мне направится. А вы идите напрямик в его палату, дверь он наверняка не запрет. Оттуда позвоните мне. Скажете, что замочите его смокинг в горячей воде, а все белье забрызгаете чернилами, если вам сию же секунду не вернут вашу постель и ваши вещи. Понятно?

– Да, но...

– Их просто припрятали. Не знаю кто. Но если и Шарль этого не знает, я буду очень удивлена.

Лилиан сняла трубку.

– Шарль? – Жестом она велела Эве отправляться к лифту. – Шарль, ты не мог бы на минуточку ко мне заглянуть? Да? Хорошо.

Не прошло и двух минут, как он постучал.

– Ну, чем там дело кончилось с Крокодилом? – спросила Лилиан.

– Все обошлось. Долорес в таких случаях просто бесподобна. Вот уж артистка! Взяла и сказала все как есть – дескать, нам, остающимся, просто необходимо было залить тоску-печаль. Блестящая идея! По-моему, Крокодил ушла чуть ли не в слезах.

Зазвонил телефон. Голос Эвы Мозер звучал в трубке настолько громко, что Шарль тоже его расслышал.

– Она у тебя в ванной, – сообщила Лилиан. – Уже пустила горячую воду. В левой руке у нее твой новый парадный костюм, в правой твои чернила для авторучки. Ярко-синие. Не вздумай к ней врываться. Как только ты тронешь дверь, она приведет чернильную бомбу в действие. Вот, сам поговори.

Она передала Шарлю трубку, а сама отошла к окну. Внизу, в деревне, сиял огнями Палас-отель. Еще недели две-три, и конец фейерверку. Туристы улетучатся, как перелетные птицы, и сквозь тоскливую пустоту весны, лета, осени потянется долгий, однообразный год – и так до следующей зимы.

За спиной у нее Шарль положил трубку.

– Вот стерва! – проговорил он с сомнением в голосе. – Вряд ли она сама до этого додумалась. Слушай, зачем ты меня позвала?

– Хотела узнать, что Крокодил сказала.

– С каких это пор ты так нетерпелива? – Шарль усмехнулся. – Ну, об этом мы завтра еще поговорим. Побегу спасать парадный костюм. С этой дурехи станется, она его сварит. Спокойной ночи! Прекрасный был вечер!

Он прикрыл за собой дверь. Лилиан прислушалась к торопливому шарканью его шлепанцев по коридору. Его парадный костюм, усмехнулась она про себя. Символ его надежды на выздоровление, на свободу, на соблазны ночной жизни там, внизу, в суете городов, для него это такой же талисман, как для нее оба ее вечерних платья, совершенно не нужные здесь, наверху, а она все равно с ними не расстанется, словно от этого жизнь зависит. Она снова подошла к

окну, уставилась на огни внизу. Прекрасный вечер! Сколько уже было таких «прекрасных» вечеров, скорбных, убийственно-безнадежных...

Она задернула шторы. Опять этот страх! Пошла доставать припрятанные таблетки снотворного. На секунду ей почудился за окном знакомый рокот мотора. Посмотрела на часы. Да, Клерфэ, он мог бы спасти ее от ужасов долгой ночи. Но ему не позвонишь. Хольман ведь сказал – у него гостя. Кто бы это мог быть? Какая-нибудь бабенка, здоровенькая, – из Парижа, из Милана или из Монте-Карло. Ну и черт с ним, все равно он через пару дней уезжает! Она запила водой таблетку. Пора сдаться, думала она, пора послушаться Бориса: примириться, свыкнуться, научиться с этим жить, прекратить сопротивление, сдаться – но ведь как только я сдамся, мне конец!

Она села за стол, достала лист почтовой бумаги. «Любимый! – вывела она. – Ты, чье лицо я вижу лишь смутно, ты, так и не пришедший, вечно желанный, разве не чувствуешь ты, как утекает наше время?» – тут она остановилась, оттолкнула от себя бювар, в котором скопилось уже много таких же, едва начатых посланий, писем без адресата, и, глядя на белый листок перед собой, подумала: «Какого черта я плачу? Как будто этим что-то изменишь...»

5

Одеяло укрыло старика настолько ровненько, что казалось, тела под одеялом нет вовсе. Голова скорее напоминала череп, обтянутый мятой папиросной бумагой, но тем ярче в глубоких впадинах глаз светились лучистой синевой зрачки. Старик лежал на узкой койке в узкой, как пенал, каморке. У койки, на ночном столике, на квадратиках доски в ожидании очередного хода замерли шахматные фигуры.

Фамилия старика была Рихтер. Из своих восьмидесяти лет он уже целых двадцать прожил в санатории. Поначалу он роскошествовал в двухместной палате на втором этаже; какое-то время спустя переселился на третий – в палату с балконом, потом на четвертый, уже без балкона, а теперь, когда деньги кончились совсем, ютился в этой комнатухе. Но оставался при этом гордостью санатория; стоило кому-то из пациентов впасть в уныние, Далай-лама неизменно ставил его в пример. Рихтер отвечал ему благодарностью на свой манер: оставался умирающим, но не умирал.

Сейчас у его одра сидела Лилиан.

– Вы только взгляните на это! – Старик недовольно указал на доску. – Он же играет как сапожник! После этого выпада конем он в десять ходов получает мат. Я просто не узнаю Ренье. Раньше-то он хорошо играл. В войну вы здесь уже были?

– Нет, – покачала Лилиан головой.

– Он во время войны поступил, в сорок четвертом, кажется. Это было счастье! Прежде-то, милая юная барышня, мне с цюрихским шахматным клубом приходилось играть, по переписке. Это же тягомотина, сил нет!

Единственной страстью Рихтера были шахматы. Во время войны все прежние его санаторские партнеры либо выписались, либо поумирали, а новые все не появлялись. Двое друзей из Германии, с которыми он играл по переписке, погибли на фронте в России, еще один попал в плен под Сталинградом. Несколько месяцев он маялся вообще без соперников, впал в хандру, даже исхудал. Тогда главный врач разыскал для него адрес шахматного клуба в Цюрихе. Однако большинство тамошних шахматистов оказались для Рихтера слишком слабы, а игра с немногими достойными противниками раздражала трудностями связи. Поначалу нетерпеливый Рихтер сообщал ходы по телефону, но это выходило слишком накладно, пришлось довольствоваться перепиской, однако в военное время письма шли долго, дожидаться хода случалось по двое суток. Мало-помалу и эта вялая переписка заглохла, и Рихтеру оставалось только упражняться разбором партий из шахматных учебников.

А потом приехал Ренье. После первой же сыгранной партии Рихтер сиял – наконец-то достойный соперник! Однако Ренье, француз, только что освободившийся из немецкого лагеря для военнопленных, узнав, что Рихтер немец, играть с ним впредь наотрез отказался: обостренные войной национальные предрассудки не обошли и санаторские палаты. Огорченный Рихтер снова начал хиреть, вскоре слег и Ренье, но о примирении не могло быть и речи. Покуда еще одному пациенту, обращенному в христианство негру с Ямайки, не пришло в голову остроумное решение. Он тоже был лежачий. И в один прекрасный день он написал и Ренье, и Рихтеру по письму, в каждом из которых вызывал противника на шахматный матч по телефону. Оба, и Ренье, и Рихтер, страшно обрадовались. Единственное затруднение состояло в том, что сам негр в шахматах почти ничего не смыслил, однако он и тут нашел выход: против Рихтера играть белыми, против Ренье черными. И дело пошло: Ренье у себя в палате сделал первый ход и по телефону сообщил его негру. Тот просто передал его Рихтеру и дождался ответного, который, своим чередом, по телефону переправил Ренье. И так далее. У самого негра даже шахматной доски не было, ведь его единственной задачей было лишь обеспечить связь между Рихтером и Ренье, которые теперь играли друг с другом, сами о том не догадываясь. Главная хитрость

состояла в том, чтобы с одним играть белыми, а с другим черными – в противном случае ему пришлось бы ходить самому.

Вскоре после войны, однако, негр умер. Ренье и Рихтер к этому времени обеднели, и обоим пришлось переселиться в палаты поскромнее – один лежал на четвертом этаже, другой на третьем. Роль негра перешла к Крокодилу, ходы противникам сообщали палатные сестры, и оба по-прежнему свято верили, будто играют с негром, – им объяснили, что у того развился туберкулез гортани и он потерял голос. Все шло прекрасно, покуда Ренье вдруг не стало лучше и ему не разрешили вставать. Он, конечно же, первым делом отправился проведать негра, тут все и раскрылось.

Впрочем, национальные чувства тем временем успели поостыть. Узнав, что родные Рихтера в Германии погибли от воздушного налета, Ренье заключил с немцем мир, и с тех пор оба с тем бо́льшим упоением сражались друг с другом на шахматной доске. Вскоре, однако, Ренье снова слег, и, поскольку оба лежали теперь в палатах без телефона, ходы опять передавались через посыльных, миссию которых брали на себя добровольцы из числа ходячих пациентов. Но три недели назад Ренье умер. Рихтер в те дни был настолько плох, что и его конца ждали с часу на час, и никто не решился сообщить ему о смерти закадычного соперника. Вот Крокодил и рискнула выйти на замену, благо за это время сама выучилась играть, – впрочем, тягаться с Рихтером ей, конечно же, было не по зубам. В итоге Рихтер, все еще мнивший, будто играет с Ренье, только диву давался: за столь короткий срок болезнь превратила хорошего шахматиста в форменного осла!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.